



**ВЛАДИМИР
САПРЫКИН**

**Жизнь моя,
ты не принадлежала мне**

**Исповедь советского
человека**

Владимир Александрович Сапрыкин
ЖИЗНЬ МОЯ, ТЫ НЕ
приснилась мне. Исповедь
советского человека

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64026532

Жизнь моя, ты не приснилась мне. Исповедь советского человека / В.А.

Сапрыкин: Родина; Москва; 2021

ISBN 978-5-00180-055-2

Аннотация

В.А. Сапрыкин, доктор философских наук, профессор, общественный деятель, никогда не писал мемуаров. Он известен читателю многими политико-научными, социокультурологическими, публицистическими работами, в которых поднимаются важнейшие общественно значимые проблемы. В них рассказывается о людях, с которыми автор встретился на своем жизненном пути: это – соратники и единомышленники, товарищи по общему делу, его наставники и учителя, как правило, безупречные в идейном и нравственном отношении. Коммунист-марксист, автор защищает ценности социалистического мироустройства, разоблачает ренегатов, двурушников, скрытых или откровенных предателей Советского государства. Среди его работ книги

«Русская культура и социализм» (М., 2003); «Революция и контрреволюция: Прометеи и плутократы» (М., 2004); «Антикоммунизм. Оппортунизм. Контрреволюция» (М., 2007); «Ценности социализма. Суровая диалектика формационно-цивилизационной смены и преемственности системы общественных ценностей» (М., 2014); «Империализм и оппортунизм: классовые противники или союзники» (М., 2016); «Великий Октябрь: национальные истоки, движущие силы, политические уроки» (статья, посвященная 100-летию Великой октябрьской социалистической революции, в журнале «Коммунист», М., 2017, № 1, с. 3-49). Доктор философских наук, профессор В.А. Сапрыкин, высоко ценивший общение с широкой и разнообразной аудиторией, избегает сугубо академического, наукообразного, бесстрастно повествовательного стиля изложения. Примером может служить его публикация «Русский неоренессанс. Заметки вузовского преподавателя о советской культуре». Они печатались в течение полугода в «Экономической и философской газете» под рубрикой «К 80-летию образования Союза Советских Социалистических Республик» («Экономическая и философская газета», № 52 (429), декабрь 2002 – № 21 (499), май 2003). В разные годы статьи В.А. Сапрыкина публиковались в журналах Болгарии, Чехословакии, Италии, Германии.

Жанр мемуаристики – новое направление в публицистике автора. Его страстная исповедь – дань памяти жены Сапрыкиной Аллы Александровны, ушедшей из жизни в апреле 2020 года.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Содержание

Вместо предисловия.	6
Сюжет первый	25
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Владимир Сапрыкин
Жизнь моя, ты не
приснилась мне. Исповедь
советского человека

© Сапрыкин В.А., 2021

© ООО «Издательство Родина», 2021

Вместо предисловия. Рубеж, определивший финиш моей жизни

Еще несколько лет тому назад даже сама мысль об обращении к жанру мемуаристики не могла придти в мою голову. Должно было случиться нечто особенное, чрезвычайное, чтобы однажды я сел за письменный стол, взял лист бумаги, ручку и начал писать о своей совсем не выдуманной, не приснившейся жизни. Таким чрезвычайным, взрывным событием стала смерть моей жены – Сапрыкиной Аллы Александровны. Она умерла 10 апреля 2020 года в 5 часов 40 минут утра. Уход из жизни самого дорогого, самого близкого человека буквально потряс меня. Жизнь разделилась на две неравные части: бóльшая, главная, определяющая, до, и оставшаяся, финишная – после ухода жены от меня, детей, внуков, правнука. В бóльшей было всё, в том числе смерть мамы – Клавдии Ивановны Сапрыкиной, сестер Жени и Риммы, но еще оставалась жена, которая была последним связующим звеном с нашей советской жизнью, она наполняла мое бытие смыслами, энергией, – не сломаться перед напором дикости его препохабия капитализма. Был смысл идти до конца, бороться.

...Материалист и атеист до мозга костей, я – человек сугу-

бо рационального мышления и научного знания, хорошо понимаю, что такое смерть. Она – естественное и неизбежное окончание жизни всякого живого существа, увы, в том числе и человека – высшего звена в сложнейшей системе живых организмов на Земле. Мне за долгие годы бытия не раз и не два пришлось расставаться с родными и близкими, друзьями и соратниками, сам не раз стоял на краю гибели. Уход из жизни каждого человека – всегда трагедия, и ее не объехать и не обойти. Мы, люди, хороним своих любимых, единственных, неповторимых, а сами остаемся жить... Тем самым продолжаем продлевать как собственный фамильный род, так и в целом – род человеческий. Тут с властной неизбежностью действует всемирный закон прерывности и непрерывности человеческой жизни. Даже уходя из нее, конкретный человек продолжает жить в том, что он создал своим трудом и творчеством, продолжаясь в своих детях, внуках, правнуках, в памяти всех, кому он помогал, делал добро, кто его знал, ценил, любил. Таков главный, единственно реальный оптимистический императив нашего бытия. Другого просто не дано. В нем, в отличие от иллюзорного, религиозно-идеалистического, фидеистического предписания, нет субъективно-эгоистического, основанного на страхе стремления «жить во что бы то ни стало», унижаться перед вымышленными фантомами «царствия небесного», целовать руки «святым отцам», наслаждающимся дарами земного «греховного мира» и не торопящимся в «сады райские»...

Но это, скажу так, в теории, научно-материалистической философии, в нашем *рациональном* сознании, в *рассудочном* мышлении. Когда смерть поражает самого родного, любимого человека – происходит взрыв – в действие вступают *чувства, эмоции*. В подобных ситуациях неизбежно проявляется эмоционально-психическая реактивность человека. (Не случайно само понятие «эмоция» – лат. «*emovere*» – означает возбуждать, волновать, потрясать.) Психологи выделяют несколько видов эмоций: аффекты, страсти, настроения, чувства, наконец, стресс. Я не психолог, и мои рассуждения могут посчитаться дилетантскими, невежественными. Впрочем, я и не претендую на их безошибочность, а как человек, отдавший профессиональному общению с людьми в течение полвека, к тому же проживший 85 лет, смею думать следующее. В рациональном и эмоциональном восприятии людьми действительности, в их практическом проявлении существует абсолютно неразрывная связь, одно не может существовать без другого, они – это и есть мир человека, сам человек в многообразии своих проявлений. Он – живая, деятельная система, познающая и отражающая реальную действительность, в ней, по Канту, «*всякое наше знание*» начинается «*с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме*»...

Я хорошо знаю из жизни, из собственной практики, как чувства, эмоции могут на какое-то время захлестнуть разум, и последствия не проследуют мимо... У всех людей, в зави-

симости от их индивидуальных качеств и особенностей характера, жизненного практического опыта, зрелости социальных связей, уровня образования и в целом культуры, эмоциональная реактивность проявляется по-разному. Я – человек эмоциональный, увы, носитель взрывного характера, который приносил и до сих пор приносит мне немало вреда. Много раз сожалел о том, что не сдержал себя, не взял «в руки». Верно говорится: «характер – это судьба». В молодости и в более зрелые годы умел владеть собой, сказывалось воспитание в семье и, конечно, серьезная общественно-политическая практика, а позднее и преподавательская работа в институте. Но в годы преступной криминально-капиталистической контрреволюции, уничтожившей Советский Союз, разгромившей КПСС, к власти пришли самые низменные, аморальные негодяи. Они стали крушить всё, что было создано за семьдесят лет народом ценой невероятных лишений, страданий, жертв, захватчики куражились над памятью павших в годы Великой социалистической революции, Великой Отечественной войны, стали плясать на гробах народных героев, обзывать советских людей самыми грязными ругательствами. Рассудок не мог выразить страшного погрома Советской страны, мы еще помнили фашистское нашествие, тогда чувства, эмоции захлестывали не меня одного, а огромное число людей. Не выдержав гибели СССР, многие шли на крайние поступки, это уже в наше время.

Защитник Брестской крепости из Татарии приехал в Бе-

лоруссию и на камнях цитадели покончил жизнь самоубийством. Свела счеты с жизнью поэтесса Юлия Друнина, написав предсмертные строчки: *«Не могу, не хочу смотреть, как летит под откос страна...»*. Шахтер из Кемерово в газете «Завтра» исповедовался: *«Я – шахтер, – 27 лет проработал горнорабочим в лаве. Меня два раза полузадохшего вытаскивали из-под завала горной породы. Это к тому, что человек я далеко не сентиментальный. Довести до слез и напугать меня невозможно. ... Я прошу... прощения за совершенное предательство. Дело в том, что в 1990 году у себя на шахте, я был ярым, непримиримым забастовщиком. В стачечном комитете мне поручили «посадить» все шахты нашего куста. И я, урод, мотался по предприятиям, уговаривая поддержать нас. И очень в этом преуспел. Вот уже 15 лет я задаю себе один и тот же вопрос: зачем я это сделал? И не нахожусь вразумительного ответа. Родился и вырос я в шахтерском поселке. Я любил свою работу. Я любил свою шахту. Несказанно гордился и любил свою Родину, Советский Союз. И получается так, что я своими руками убил его. А это все равно, что задушить свою мать и отца. Если тогда, в девяностом, случилось бы чудо, и Бог показал мне, к чему это все приведет, я бы ушел в непроветриваемую выработку и задохнулся там»*.

Своеобразным реквиемом звучат стихи кубанского поэта Николая Зиновьева.

У карты бывшего Союза
С обвальным грохотом в груди
Стою, не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей,
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей...

Для меня уничтожение Советского Союза стало личной трагедией, как гибель отца на Курской дуге, как смерть матери, отдавшей жизнь за победу в страшной войне. Всё, о чем я писал в эти годы, было пронизано невероятным страданием, болью за Родину и ненавистью к врагам Социалистического Отечества. Излишне говорить, что мои статьи и книги были наполнены чувствами, эмоциями, волнениями. Читавшие их единомышленники разделяли мою политическую и нравственную позицию, эмоциональный пыл, просили продолжать эту линию. И лишь один из моих вроде бы «друзей» и «единомышленников» не переставал обличать меня: «Ты пишешь грубо»... Когда же я просил его показать хотя бы одну грубость в моих публикациях, он вежливо уклонялся, разговор обретал беспредметный характер. Но я видел, что он на дух не переносит мои «сочинения», как и меня самого. Примечательная деталь: за годы нашего общения он ни разу не назвал меня по имени. При личных

встречах, в разговоре по телефону всегда безыменное «*Как ты?*». Внутренне меня это смешило. Умный, образованный, он не мог переступить через себя, преодолеть чувство неприязни, антипатии. Вот и я позволю себе хотя бы один раз «забыть» имя моего бдительного оппонента, в моем ответе любителю «изящной словесности» будет присутствовать собирательный образ всех моих критиков. Обвиняя меня в грубости, он элементарно упрощал смысл, содержание, многозначность этого слова. Одно дело – обыденное, расхожее сквернословие, неприличные слова и выражения, и совершенно другое – политические понятия, образные сравнения, жесткие определения в классовой борьбе против идейных противников, защитников капитализма. «Предатель», «*ренегат*», «*коммуноизменник*», «*лжец*», «*мошенник*», «*одурачивание*» – такие «грубые» слова, к примеру, употребляются сегодня в отношении тех персонажей из Политбюро ЦК КПСС, которые тайно готовили контрреволюционный захват власти, разгром Советского государственного строя, передачу общественной собственности в руки криминальной необуржуазии.

Политический словарь был рожден не сегодня, а в ходе всей многовековой борьбы народных масс, но прежде всего рабочего класса за свое освобождение от гнета капитала. Словарь К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина – это могучее оружие в борьбе против всех и всяких классовых противников, без него невозможна победа в революции.

Не случайно сегодня на наших глазах идет вымывание классово точных понятий, подмена вполне определенных в смысловом содержании слов размытыми или просто лживыми софизмами и эвфемизмами. Контрреволюционный переворот в СССР сопровождался «открытиями» академиков: надо отказаться от слов «капитализм», «социализм», они, дескать, устарели. Вот и сейчас, когда на просторах России бесчинствует дикий капитализм, власти предержажшие не торопятся назвать его своим именем, они даже избегают слова «господин», подменяя другими – «коллеги», «друзья», употребляя их к месту и не к месту. Не лучше и словарь правых оппортунистов, это они вместе с властями предержажшими научились оболванивать сознание людей словом «патриотизм», родили внеклассовую философию «госпатриотизма», призванную замаскировать их участие в реставрации капитализма.

В споре с лингвистическим критиком однажды пришлось сослаться на авторитет В.И. Ленина, ответ последовал незамедлительно: «Ленин писал плохо». Что ему, хозяину теплого кабинета и удобного письменного стола, компьютера, позволяющего мгновенно править текст, до Ленина, писавшего в шалаше, на коленке революционные статьи и воззвания и тут же шедшего в бой? Пройдет время, и обличитель договорится до того, что, видите ли, у Ленина была лишь одна большая работа – «Развитие капитализма в России». Это правда, которая хуже всякой лжи. Любитель бесстрастной академи-

ческой словесности, он не хочет знать и понимать условий, в которых жил и действовал революционер Ленин, задач, которые ставил перед собой гениальный мыслитель и решал их в интересах пролетариата и всех эксплуатируемых масс народа. Не понимает, но тогда хотя бы прочитал вот эти строки француза Луи Альтюссера: *«Союз или слияние рабочего движения и марксистской теории – величайшее событие в истории классовых обществ, т.е. практически во всей истории человечества. В сравнении с ним пресловутый «переворот» в науке и технике, о котором мы слышим с утра до ночи (атомная эра, электронная эра, эра компьютеров, космическая эра и т.д.), при его несомненной важности, ограничивается научно-технической сферой. Все эти события имеют куда меньшее значение, их последствия затрагивают лишь отдельные аспекты в развитии производственных сил»* (выделено мной. – В.С.).

Так французский философ Луи Альтюссер оценил сделанное В.И. Лениным в русской и всей мировой истории, в отличие от критика, называющего себя марксистом, не по количеству написанных страниц, хотя и их огромное множество, а по **великой революционной практике, по историческим последствиям, которые будут определять развитие мировой цивилизации на тысячелетие вперед.** И последнее, в качестве ответа моему бдительному «единомышленнику». Мы разные во всем, я – колхозник в самые трудные для страны годы, комсомолец с тринадцати

лет, партийный работник с 24 и до 55 лет, всегда жил и работал **внутри** функционирующей системы управления сложнейшим социальным организмом, на уровне промышленного города, индустриально развитой области, государства. Он – журналист и преподаватель, отвечает за себя, живет для себя. Отсюда у нас разное отношение к нынешним событиям, но особенно к людям: я резко нетерпим в отношении ко всем, кто предал КПСС, Советскую власть, кто замаскировался и выдает себя за коммуниста, кто лжет и обманывает народ. Поэтому еще и еще раз скажу: мой язык, в отличие от «изящной словесности», это – язык крестьянина, рабочего, советского человека, коммуниста-марксиста и, позволю произнести, ленинца. **Если это грубость, то пусть будет так, но скажу без обиняков, у всех, кто остался верен социализму и защищает советское наследие, одна, общая «грубость»:**

- это «грубость» революционера на баррикаде, ведущего огонь против черных сил контрреволюции;
- это «грубость» рабочего, поднявшего булыжник как оружие против ненасытного буржуя;
- это «грубость» солдата, идущего в штыковую атаку на врага;
- это «грубость» матери, защищающей свое дитя от насильника, работорговца;
- это «грубость» поэта, покрывшего врагов трехпалым свистом в бабушку и в бога в душу мать. **Всё это – «гру-**

бость» трудового народа, ведущего вековую борьбу против его препохабля капитала.

Моя жена, Алла Александровна Сапрыкина, с которой мы прожили в браке 63 года, филолог, лингвист по образованию, выросшая на поэзии А.С. Пушкина, А.Н. Некрасова, тонко чувствовавшая «слово», читала всё, что я писал. Но она ни разу не остановила меня, не сказала, что я груб, несправедлив, кого-то оскорбил или унизил. Наоборот, поддерживая меня в оценочных эпитетах, Анна советовала усилить некоторые политические и нравственные акценты в отношении предателей, перевертышей, негодяев. **Спасибо тебе, дорогая жена, ты никогда не ошибалась в характеристике событий и их персонажей, низкий поклон за всё, что ты сделала для меня, детей, внуков.**

Так вот, об эмоциях уже не в теории, а в реальной жизни. Горбачевско-яковлевская «перестройка», закончившаяся криминально-компрадорской контрреволюцией, диким разгулом антисоветизма и антикоммунизма, грабежом народной собственности, гигантским катком проехала по людям, лишая их источников физического и духовного бытия, а многих – и самой жизни. По данным Института им. Сербского, за 15 лет уничтожения советского наследия покончили жизнь самоубийством свыше 800 тысяч человек. Шёл процесс вымирания огромного числа людей. Действовал призыв «Убить коммуняку!», офицеров и других военнослужащих избивали и убивали, травили профессиональные пар-

тийные кадры (к коим принадлежал и я) по личному призыву Горбачева: *«Вы их бейте снизу, а мы – сверху!»*. **В сущности, шла травля поколения советских людей, оставшихся верными идеалам социализма. То был новый вид гражданской войны, развязанной горбачевистами-ельцинистами.**

Годы погрома Советского государства, КПСС, всей социалистической системы общественного устройства не могли не коснуться меня и моей семьи. Я лишился работы и как «коммуняку» нигде не принимали, чтобы заработать на кусок хлеба. Лишили работы обеих моих дочерей Наташу и Марину. В итоге язва желудка стала хронической болезнью. В портфеле стал носить «Алмагель А», отворачивался где-нибудь в угол и прямо из бутылочки делал два—три глотка, заглушая боль. Начало барахлить сердце, перенес инфаркт, было сделано аортокоронарное шунтирование по полной программе – вшиты четыре шунта. Гипертония набирала обороты. Нервы были на пределе. Сдерживающих, рациональных тормозов становилось всё меньше. Стала болеть и моя Алла. Ее гипертония зашкаливала. Она всё чаще жаловалась на головную боль, боль в спине и суставах. Бывшая спортсменка-гимнастка, плясунья в самодеятельном ансамбле песни и танца, хорошая пловчиха, жена физически слабела, часто уставала, ее желания становились уже, поверхностнее. Страстная театралка, она отказывалась даже от подаренных детьми билетов... Правда, читала газеты, но от них

становилось только хуже, с их страниц неслись проклятья в адрес коммунистов и комсомольцев, печатались дикие измышления о нас, советских людях, мы изображались недочеловеками, бездельниками, захребетниками, которые только и ждут, чтобы захватить и разделить... С телеэкрана обрушился поток такой зловонной лжи, что сознание отказывалось воспринимать контрреволюционную бредятину в качестве человеческой продукции. Такое могло родиться только в среде инопланетных чудовищ. Однажды втроем мы всё же рискнули пойти в театр «Современной пьесы» (билеты купила Наташа, моя зарплата профессора, заведующего кафедрой университета не позволяла такую роскошь). Увиденное действие на сцене рекламируемого учреждения «искусства» повергло в шок: актеры крыли матом, изображали акт совокупления. Мы бежали, как ошпаренные, то был последний наш выход в «свет»... Но этот «свет» хуже, бесчеловечнее всякой темноты, он словно перекрывал кислород, уже нечем было дышать, всё и вся было отравлено ядом ненависти, стяжательства, превращением в товар самого святого – человеческого достоинства, чести, совести, морали, любви. **То был новый вид духовной блокады, направленной на удушение человеческого в человеке, на развязывание в нем самых низменных, звериных инстинктов. Настоящее имя этому потоку – реставрация капитализма в России.** Персонифицированным изображением его была распухшая, еле ворочавшая языком пьяная физио-

номия Ельцина. Много видел наш многострадальный народ за тысячелетнюю историю России, но такого вселенского позора еще не случилось. От стыда заходило сердце, невольно закрывались глаза, хотелось бежать и бежать...

Жена, спасаясь, искала противоядие. Им стали книги – Пушкина, Некрасова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Блока, Симонова, благо в доме у нас хорошая библиотека, которую мы собрали за шестьдесят лет. Особенно любила Алла творчество А.С. Пушкина, знала наизусть многое из его поэзии. Перечитывая А.Н. Некрасова, нередко плакала, настолько близко принимала волнующие строки об обездоленном русском крестьянстве, особенно женщинах. Восхищалась публикациями Владимира Сергеевича Бушина в газете «Завтра», мы оба, не сговариваясь, назвали его современным Белинским, неистовым разоблачителем всех прилипал, получивших от Советского государства звания, премии, награды, огромные тиражи книг и ставших его врагами.

Между тем болезнь Аллы прогрессировала, с каждым днем она чувствовала себя всё хуже и хуже, лекарства, принимаемые в большом количестве, помогали плохо. Я понимал, ее убивала не только и не столько болезнь, сколько невыносимая атмосфера его препохабля капитализма. Мы оба не знали, что делать дальше. Врачи поликлиники не говорили ничего вразумительного, измеряли давление, выписывали рецепты. Страшный диагноз в 2013 году поставила кардиолог сана-

тория «Подмосковье» Бэла Эриджимовна, замечательный врач, прекрасный, душевный, тонко чувствующий человек. «Паркинсонизм» – название диагноза, прозвучавшего как приговор... Он будет приведен в исполнение в апреле 2020 года.

...Ушла от меня та, с которой я прошел по трудным жизненным тропам 63 года – с 1957 и по 2020 год. Оборвалась последняя ниточка, связывавшая меня с тем миром, образом жизни, где я был счастлив, и где Алла была не только женой, матерью моих дочерей, но другом, товарищем, соратником, единомышленником. Мы оба были советскими людьми до мозга костей, до кончиков пальцев – комсомольцами, я – коммунист, а она – беспартийный «большевик», так в шутку я называл жену за критическое отношение ко мне, за ее радикализм в оценке многих событий и людей. В этой шутке поистине большая доля правды: совсем не случайно, не походя, ей предлагали вступить в ряды КПСС, давали рекомендации уважаемые люди, даже рассматривался вопрос о выдвижении ее на должность председателя горкома профсоюза работников культуры города Балхаша. Она в это время работала заведующей редакцией кинопрограмм созданной студии телевидения. Алла отказалась от того и от другого лестного предложения: в семье уже есть один коммунист и партработник, которого вижу редко дома, кто-то же должен варить ему борщ, заниматься детьми. К тому же,

добавляла она уже лично мне, оставаясь вне партии, получая возможность свободно критиковать коммунистов.

Алла, за долгие годы супружеской жизни, *никогда* не хвалила меня, я не припомню ни одного такого факта. Сегодня мои взрослые внуки Женя и Кирилл, которым, явно злоупотребляя их терпением, я рассказываю о разных эпизодах прошлой жизни, улыбаются тому, как бабушка Алла останавливала чересчур разговорчивого деда. Помогая мне, моя домашняя наставница и учительница нередко говорила: *«Вова, ты, пожалуйста, следи за своим лицом, ведь на нем всё написано, твои эмоции выдают тебя, даже если ты молчишь»*... *И еще: «Ты слишком громко говоришь, напряженно, форсируешь звук, пожалуйста, потише»*. Жена иногда присутствовала на моих публичных лекциях, например, в летнем кинотеатре, расположенном в большом сквере имени 30-летия ВЛКСМ г. Балхаша. По воскресным дням, когда невероятная балхашская жара спадала, молодые семьи с детьми приходили погулять, отпуская отпрысков, садились на скамейки и слушали мои рассказы о международном положении в мире. Никто никого не принуждал идти на эти лекции: так вполне естественно сочеталось приятное, нужное с полезным, это было в счастливое советское время. Без шашлыков, костров, алкогольно-наркотических вакханалий. Внимательно, вместе со своей бабушкой Катей, Алла слушала мои еженедельные телевизионные обзоры международного положения. Смотрела, хорошо ли я выгляжу в костюме с

галстуком зимой, в клетчатой рубашке летом, правильно ли студийный инженер поставил свет, свободно ли ее муж владел речью, интересен ли был сам обзор и т.д. и т.п. Домашний разбор был придирчивым, обижаться не приходилось: она разбирала мою речь, правильно ли строю предложение, не злоупотребляю ли терминологией, надо говорить проще, мысль доносить доступнее. Да, так было...

За годы общественно-политической и преподавательской работы мною было написано немало статей, брошюр и даже отдельных книг. Я никогда не страдал графоманством, все мои публикации были частью той деятельности, в недрах которой приходилось вариться, накапливать опыт, приращивать знания. Многие, очень многие опубликованные работы были заказаны редакциями газет, журналов, издательств, их, как правило, интересовало всё новое, полезное в идеологической, социокультурной работе партийных организаций. Эти публикации в той или иной степени прошли через оценочный взгляд Аллы Александровны Сапрыкиной, которая неплохо разбиралась во многих вопросах моей сферы деятельности. Я знакомил ее с проблемой, подходами к ней, зачитывал готовые «куски» написанного: всё ли будет интересно читателю, нужны ли ему мои рассуждения, или не стоит браться за данную тему... Ее оценки, советы, сомнения, критику всегда воспринимал с благодарностью... Шли годы, нарастала усталость, давали о себе знать ее и мои болезни. Она всё чаще говорила, чтобы я перестал изматывать себя «со-

чинениями»: *«Пожалей себя и меня, ты уже ничего не изменишь, партию не возродишь, Советский Союз не построишь... Если ты умрешь, я не смогу жить без тебя».*

Но должен был, наверное, наступить «момент истины», чтобы Алла начала говорить обратное: *«Сядь и напиши о себе, о нас, как жили, работали, о чем мечтали, что для нас было дорого»...* Мой ответ всегда был один: *«Кто я такой, чтобы писать о себе, таких, как я, миллионы и миллионы в нашей стране, о них всё давно написано, рассказано, показано».* Верная подруга и соратница настаивала: *«Ты же видишь, сколько грязи вылито на вас, партийных работников, на нас, ваши семьи – жён, детей, матерей, родственников. Напиши, сегодня твои строчки ничего не изменят, но завтра, когда пройдет время, они станут историческим документом в суде над негодяями. Пусть это увидят наши внуки, правнуки. Вова, сделай то, о чем я тебя прошу. Ты всю жизнь писал для других, напиши хоть раз для себя»...*

При жизни Аллы я не успел исполнить ее волю, – слишком долго колебался, – она ушла навсегда, не узнав, что будет дальше... Прощаясь с ней перед могилой, я дал клятву исполнить ставшее для меня святым ее поручение – не секретаря обкома партии, не ректора института, не заказ издательства, – а жены, друга, товарища, соратника, единомышленника. В этих ставших для меня последними страницах будет только правда, ничего кроме правды. А рецензентом, судьей и поводырем будет по-прежнему Алла Александровна

Сапрыкина. Говорю это безо всякой мистики, ибо я в здравом уме и хорошо помню оценочные критерии жены. В этом смысле она всегда со мной. Я пишу, а на меня смотрят ее фотографии разных лет с книжных полок комнаты... Мы вместе и сегодня, поэтому говорю своему главному критику, рецензенту, советнику: *«Алла, прости, но в моем последнем сочинении будет много личных местоимений – «я», «мне», «меня». Ты этого не любила. Это совсем не стремление взобраться на пьедестал, выпятить свою персону, похвалиться чем-либо, а необходимость передать те или иные воспоминания через личный опыт, через собственное присутствие в событиях, свидетелем или соучастником которых был. Впрочем, и без этого объяснения ты всё поймешь».*

Сюжет первый

Жизнь моя в реальных фактах, событиях, радостях и печалях. Всё, как было

Не растекаться мыслию по древу, учили наши мудрые предки, говорить только о самом важном, существенном, определяющем. В противном случае можно утонуть в мелочах, второстепенных деталях и не сказать о главном. Серьезная дилемма. Отказаться от «мелочей» – можно впасть в схоластику, все рассуждения будут оторваны от жизни, а отвлеченные умозаключения как минимум подвергнутся сомнению. «Мелочи» в мемуарном жанре – это прежде всего сами *факты из жизни* автора, именно они образуют документальную основу всего повествования. «*Факты, если их взять в целом, в их связи, не только «упрямая», но и безусловно доказательная вещь*» (В.И. Ленин). Но мелочи бывают разные. В одном случае – это проявление пустяка, ничтожного случая или обстоятельства, в другом – воплощение явления, его сущности – главного содержания самой жизни во всем ее многообразии и противоречивости. Не случайно в народе родилось и продолжает жить выражение «*чёрт сидит в деталях*»... Поэтому в книге предпринята попытка, с

одной стороны, всё же не растекаться мыслию о советском времени, а, как просила Алла, сказать главное, сущее о нас с ней, о коммунистах и партработниках, а с другой – максимально избежать общих декларативных фраз и рассуждений, дать возможность вероятному читателю оценить мир реальных, а не выдуманных фактов из жизни советского человека. Может быть, это и будет самым интересным в предлагаемой книге. А если вдруг обнаружится, что ничего интересного нет в таком подходе, то очень легко избавиться себя от ненужной потери времени – книжку можно просто выбросить, это же не телевизор с рекламой и ток-шоу, от которых не спрятаться, не увернуться.

И еще один момент, о чём следует сказать возможному читателю. Всё, о чем будет рассказано в книге, решено разделить на несколько стержневых сюжетов прожитой жизни автора и тех людей, с которыми пришлось общаться, которых любил или ненавидел. Всё, как было... Как известно, само понятие «сюжет» означает «совокупность событий», составляющих содержание художественного произведения: в литературе (романе, повести, пьесе), театральном, изобразительном, киноискусстве (спектакле, картине, фильме). Но какими бы ни были талантливыми и даже гениальными художественные произведения, реальная жизнь ярче, богаче, глубже, сложнее, противоречивее всех спектаклей, повестей, пьес и даже романов. В ней тоже есть свои «сюжеты», которые никто не придумывает. Они – продукт деятельно-

сти миллионов и миллионов людей, непостижимо огромного числа отношений между ними, миллиардов видимых и невидимых связей, хороших или плохих, ибо само общество – определенная ступень конкретно-исторического развития со своим отличительным характером. **Мои «сюжеты» – ступени развития меня и моих близких в условиях борьбы, выживания, становления советского социалистического мироустройства со всеми его достижениями, промахами, недостатками, противоречиями.** Наконец, два последних пояснения. Свои воспоминания я решил сопроводить серией фотоснимков разных периодов моей жизни. Фотографии – это зрительный ряд, они выступают своего рода документальным подтверждением того, о чем говорит автор, что он точен в отношении своих героев, не приукрашивает в изображении тех или иных сюжетов. Фотоснимки, как говорили техники в радиокомитете, где я работал, «микшируют» абстракцию словесных построений, наполняют их ароматом живой жизни, лицами людей советской эпохи. Они вместе с родителями, женой, детьми, внуками, а теперь и правнуком, главные герои моего рассказа.

Итак, сюжет первый. Восемьдесят пять лет я ношу фамилию **Сапрыкин**. Фамилия как фамилия, я не задумывался, что она означает. Но однажды случилось нечто, что привлекло внимание к ней других людей. Будучи студентом пединститута, подрабатывал диктором Северо-Казахстанского областного комитета радиовещания и телевидения. Это бы-

ло в 1958 году, естественно, меня слушали не только в этой области, но и в соседней Омской, в родной деревне Антоновка. Интересная во всех отношениях работа на радио. Масса информации, которую приносили, привозили корреспонденты редакций, а я с ведущим диктором Любой Баулькиной ее озвучивал, в основном читал вечерние «последние известия».

Председатель комитета, он же главный редактор Яков Моисеевич Грин разрешал читать и большие материалы, подбирать музыкальные заставки и даже составлять концертные программы по заявкам радиослушателей. В комитете была большая и интересная фонотека, я хорошо справлялся со своими обязанностями, старался от всей души. Грин следил за моей работой, иногда делал замечания и давал советы. Он, общаясь с сотрудниками редакции, улыбался, но это не мешало ему быть строгим, взыскательным в деле. Фронтвик, потерявший ногу на войне, думаю я сегодня, хорошо понимал и меня, безрукого юношу, и, хотя никогда об этом не говорил, я интуитивно чувствовал в нем какую-то отцовскую поддержку. Подписывая мое заявление об увольнении, когда я закончил институт и по распределению уезжал в другую область на работу школьным учителем, Грин лично выписал первую в моей жизни трудовую книжку. «Она вам пригодится», – улыбнулся он, крепко пожав мою руку. В сущности, то был всего лишь эпизод в моей дальнейшей трудовой жизни, но книжка Грина сопровождает меня и сегодня. В бес-

конечной чередой всяких дел и суматох, в огромном обилии контактов с множеством людей, добрых и плохих, фронтовик – коммунист Яков Моисеевич Грин постоянно присутствует в моем нравственном багаже. Такие люди не уходят в неизвестность.

Дикторская работа среди прочего привела к тому, что вдруг ко мне однажды пришла женщина, а позже и две другие, с вопросом: нет ли у меня брата с фамилией Сапрыкин. Они искали своих родственников. Пришлось их разочаровывать, однофамильного брата у меня не было. Увы, на мне заканчивалась фамилия в нашей семье, родные сестры вышли замуж и носили фамилии мужей. Видимо, тогда эти визиты радиослушательниц и возбудили мой интерес к собственной фамилии, который в полной мере я смог удовлетворить через много лет. Однажды на день рождения мой зять Виктор Ступаченко (муж Наташи) сделал очень интересный подарок: из исследовательского центра *«История фамилии»* он принес хорошо оформленную, в красивой рамке справку *«Сапрыкин»*... Фамилия Сапрыкин, говорилось в ней, принадлежит к самому популярному типу исконно русских фамилий, образованных от народной формы крестильного имени родоначальника. Имя Сапрыка, от которого образована фамилия Сапрыкин, – популярная в старину во многих русских говорах народная форма канонического крестильного имени Софроний. Это имя включено в христианский именник в честь носивших его святых, именины которые

празднуются 9, 14 и 24 марта, 12 апреля, 24 мая, 10 июня, 13 июля, 31 августа, 10 сентября, 22 и 31 декабря. Сапрыкин <> Сапрыка <> Сапрон <> Софроний <> Здравомыслящий. Древние русские фамилии, образованные в XVII—XVIII столетиях, отражали принятые в то время народные формы крестильных имен. Так, например, в древнерусских летописях упоминаются: в 1659 году – Сапрыкин Никита, устюжанин; в 1627 году – Борис Сапрыкин, белевский житель.

О былой популярности имени Сапрыкин свидетельствует, например, такой факт: по данным телефонной базы 2000 года, только в Москве проживало более 600 семей Сапрыкиных. Об этом же напоминают и населенные пункты Сапрыкино, сохранившиеся в Смоленской и Белгородской областях. За многие века существования на Руси православия, говорилось в заключение справки, христианские обряды и обычаи стали основой духовной жизни русских людей. И одними из таких замечательных памятников русских христианских обычаев и традиций является фамилия Сапрыкин.

О широком распространении этой фамилии я смог убедиться, когда стал работать в аппарате ЦК КПСС. Во время многочисленных командировок, находясь в гостиничных номерах, обязательно пролистывал телефонные справочники, ища фамилии на букву «С». То была маленькая исследовательская работа, которая подтверждала сведения, почерпнутые в справке центра «История фамилии». Особенно много

Сапрыкиных отмечалось в Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Смоленской и других областях центральной России. Сапрыкины в буке «С» явно доминировали, и это только среди тех, кто имел домашние телефоны, а значит, их было гораздо больше. Сам я встречу своих однофамильцев на страницах печатных изданий, в передачах радио и телевидения и даже в медицинском реабилитационном центре, что находится в подмосковной Кубинке. Появляются Сапрыкины и в кинофильмах, но почему-то как антигерои, ущербные, отвратительные фигуры. Мои внуки Женя и Кирилл, остролисты и юмористы, смеялись, глядя на меня, когда мы смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя». Там карманник Костя Сапрыкин в исполнении актера Стаса Садальского шепелявит, кривляется, торгуясь с оперативником Глебом Жегловым.

Что же я знаю о моей личной фамилии, кто мои предки, оставившие мне славное, исконно русское, крестьянско-христианское фамильное обозначение рода, уходящее в глубь веков? К глубокому сожалению и стыду, мои познания в этом отношении скудны и обрывочны... Из рассказов родной сестры Риммы Александровны Быковой (в девичестве Сапрыкиной) я узнал, что мой дед Сапрыкин Василий Тимофеевич был крестьянином, хорошим плотником и столяром, рубил дома, пользовался большим авторитетом среди односельчан. Социальный статус Василия Тимофеевича – прост и однозначен: он был работни-

ком в зажиточной семье... В «Толковом словаре» Владимира Даля говорится: «*Рабочий, работник, взятый куда для работ, простых, черных, или сельских, или фабричных и заводских, простой прислужник, батрак, наймист, служитель. ... Белоручка не работник*». За хорошего, здравомыслящего работника и трезвенника Василия Тимофеевича Сапрыкина была выдана замуж девушка Мария, впоследствии моя бабушка по отцу. У них родилось пятеро детей: Александр, Татьяна, Елизавета, Раиса, Мария. Александр Васильевич Сапрыкин – мой отец, родившийся в Борисоглебске Воронежской губернии в 1906 году.

По матери я должен был бы носить другую фамилию – Майоров, ее происхождение и значение не изучал, а потому ничего дельного сказать не могу. Знаю другое – отец мамы, мой второй дед – Майоров Иван Федорович, и ее мама, моя бабушка, Наталья Николаевна были такими же работниками, иначе и проще говоря, пролетариями, как и Василий Тимофеевич Сапрыкин. Но они были связаны уже с городскими отношениями, оба трудились в городе на мясокомбинате, дед – забойщик скота, а бабушка – мойщица внутренностей забитых животных, самая грязная, тяжелая работа.

Они – выходцы из другой полосы России, с Волги. Бабушка отчаянно окала, до сих пор помню, как она говорила мне, мальчишке: «Вбóдья, ты пóштó шалишь»... Удивительно добрая, ласковая, обладавшая невероятной жизнестойкостью, она была воплощением всех лучших черт русской жен-

щины, с библейской покорностью выносившая тяготы жизни, беды и несчастья, валившиеся в то время как из рога изобилия. Я не помню деда Ивана, но впоследствии мне рассказывали, что у него был взрывной характер, он даже дрался в семье, бил свою жену Наталью, у нее случались выкидыши. В живых остались их дети: старший Егор, воевал в Красной Армии в годы Гражданской войны, говорили, что был командиром, потом – Маруся, Клавдия, Анна. Вся семья Майоровых была «красной», Иван Федорович участвовал в диверсионных актах против колчаковцев, однажды сжег запасы фуража для конницы, его искали, но он сумел уйти от преследования. За сына Егора, погибшего в войне с белыми, бабушка получала от Советского государства пенсию, чем весьма гордилась, считая ее наградой в справедливой борьбе за народное счастье. Но однажды ее лишили столь дорогой памяти о сыне: один негодяй и клеветник написал донос, в котором оболгал имя Майорова Егора и его родителей. Нет, Наталья Николаевна не плакала, не металась в горе, а внучке Жене, моей старшей сестре, сказала сурово: *«Садись и пиши письмо Климу Ворошилову»* – *«А что писать, бабушка?»* – *«А вот что я тебе скажу, ты это и пиши»*... Через месяц из райвоенкомата пришел сотрудник и принес ответ, пенсия была восстановлена, матери красноармейца Майорова принесено извинение... (В нашей семье узнали имя провокатора, знаю его и я, но называть не буду, чтобы не пачкать чистый лист бумаги.)

Бабушка Наташа – воцерковлённая, глубоко верующая женщина, в ее доме был угол горницы, в котором, в обрамлении красиво вышитых полотенец, находились иконы, горела лампада. Она постоянно, и утром, и вечером, молилась, призывая Матерь Божию, других библейских святых помочь избавиться от грехов, проявить милость к себе и своим близким, живым и мертвым. При этом не сидела без дела, а вечно пряла пряжу, вязала носки, варежки, больная тяжело, готовила пищу для меня. Сквозь религиозную оболочку явно проявляется ее гражданская позиция – социальная правда и социальная справедливость. Мы, ее внуки, слышали: *«Советская власть лучше прежней, она дает людям образование и запрещает бить женщину»*. Долгие разговоры бабушки с моей сестрой Риммой, которая жила у нее в доме, учась в педучилище, заканчивались поиском всё той же социальной справедливости. *«Будет в мире страшное время, когда люди ожесточатся и превратятся в зверей, их породит жажда денег, богатства, они начнут поедать друг друга. Но придет красный конь, и жизнь станет другой»*. Идея «красного коня» в разном ее проявлении, как у бабушки Наташи – в религиозной, мифологической форме, и как у ее сына Егора, командира в Красной Армии, – в революционно активной, жертвенной во имя счастья рабочих и крестьян, всегда жила в нашей семье, среди родных и близких. Моя любимая сестра Римма, посвящая меня в ткань семейных отношений, однажды сказала: *«Вова, знай, в нашей се-*

мье белых никогда не было, мы все – красные»...

В словах сестры не прозвучало ни грамма преувеличения, одна правда, ничего кроме правды. Я пишу эти строки не о себе, а о сестре, о них, давно и недавно ушедших из жизни, красных русских крестьянах, рабочих, учителях – носителях бессмертной идеи социальной правды и социальной справедливости. Они, мертвые, вызывают ко мне, еще живому, – не предать, не оболгать, не струсить. Я обязан вспомнить еще одно красное имя – Кузьмы Николаевича Волосникова – родного брата Натальи Николаевны Майоровой. Кузьма Николаевич, а для меня дед Кузьма, – машинист паровоза, коммунист с дореволюционного времени. Я думаю, этим фактом сказано всё о нем самом, о его сестре и детях. Примечательно, в противовес бабушке, он – открытый безбожник, с презрением относившийся к попам, по его словам, наживавшимся на народном горе, бесстыдно обманывавшим малограмотных людей. Но между братом—атеистом и глубоко верующей сестрой были теплые, даже нежные отношения. Я неоднократно бывал у деда Кузьмы в Берёзовке, это часть районного города Исилькул, в противоположном направлении от дома бабушки Наташи. Кузьма Николаевич любил поговорить со мной, любопытным мальчишкой, а я с ним, много знающим и мудрым. Однажды пришлось наблюдать, как в его доме перестилали пол, убирали прогнившие половицы, а новые, еще не крашеные сосновые доски, укладывали рядом, вплотную. «Дед, – обратился я к нему, – а твой

пол рассохнется». «*Почему это?*» – изумился он наглости подростка. «*А потому, что доски еще не высохли, между ними появятся щели, будешь перестилать*» – самоуверенно держался я. Дед на минуту задумался и приостановил укладку. Позже от мамы я узнаю, что он всё-таки принял мое крестьянско-подростковое наблюдение. «*Клавдя, а у тебя растет умный сын*» – словно вдогонку дед поблагодарил и меня, и мою мать. Так мог поступить только умный, великодушный человек, способный дарить людям тепло и радость.

Потом, уже будучи зрелым, я многое узнаю о сыновьях и дочерях деда Кузьмы, а с двумя – тетей Шурой и тетей Тамарой – познакомлюсь лично. Тетка Шура, узнав, что я закончил школу и получил аттестат зрелости, принесла мне костюм сына Виктора, моего двоюродного брата, тоже машиниста паровоза. «*Одевай, неужели пойдешь на выпускной вечер в своей потертой вельветке, пора ухаживать за девочками*», – полушутя, полусерьезно объяснила тетя Шура Волосникова. Сломив мое сопротивление, она буквально напялила явно большой для меня костюм, ловко подогнув в поясе штаны, рукава пиджака и, хлопнув по спине, отправила в школу получать вождеденный аттестат. Где ты теперь, моя дорогая тетя, в каких райских куцах пребывает твоя благородная душа, говорю я, атеист, и хотя бы этими запоздалыми строчками кланяюсь тебе и всему роду Волосниковых, главе Кузьме Николаевичу и его сыновьям, стоявшим на страже Советской власти. Один из них, к тяжелому сожалению, те-

перь не могу восстановить его имя, был чекистом, трагически погиб. Его репрессировали и пытали на допросах в Омской тюрьме. Каким-то чудом ему удалось передать записку домой. *«Отец, – писал он, – я кончаю свою жизнь, нет больше сил терпеть пытки. Знай, я был и остаюсь коммунистом»*. Об этом мне рассказала тетя Шура, сестра покончившего жизнь самоубийством брата. По ее словам, Кузьма Николаевич считал, что замучили его сына замаскировавшиеся враги, колчаковцы и белобандиты, коих оставалось множество в Омской области.

Эти отрывочные эпизоды – всего лишь штрихи к той семейно-родственной атмосфере, в которой я формировался как личность, усваивая нравственные, социальные, политические ценности. Бабушки и дедушки как с материнской, так и с отцовской стороны – корневая основа, своего рода предтеча моих убеждений, но человеком я стал в полном и глубоком смысле этого слова благодаря своим родителям. **Всё от них: сама жизнь, здоровье, темперамент, характер, способность работать до изнеможения, мои взгляды, привязанности, умение жить среди людей, отделять честных, порядочных от негодяев и проходимцев, никогда не разменивать честь и достоинство на любые материальные и должностные подачки, не поддаваться на лесть и похвалу, какими бы притягательными они ни были.** Мама Клавдия Ивановна Сапрыкина (в девичестве Майорова) и папа Александр Васильевич Сапры-

кин произвели меня на свет в декабре 1935 года в деревне Антоновка Исилькульского района Евсюковского сельсовета. Крестили в церкви села Ивановка Москаленского района Омской области. Так что я являюсь генетическим сибиряком.

Давно ушли из жизни бабушки и дедушки, одни из них похоронены в Исилькуле, другие в Антоновке, которой тоже нет, осталось лишь кладбище в березовом лесочке. Родителей, отца и мать, забрала война: папа погиб в 1943 году и лежит в братской могиле между Орлом и Курском, а мама, надорвавшая здоровье в военные и послевоенные годы, покоится на интернациональном кладбище в казахстанском Балхаше. Жизнь разбросала и нас, их детей: прах старшей сестры Жени покоится в Петропавловске, а младшей Риммы – в Омске. А я с детьми и внуками всё еще живу в гигантском мегаполисе по имени Москва. Но магическое слово «Антоновка» продолжает притягивать меня. Жива еще моя память, несмотря на годы, я сохранил это чудодейственное свойство человеческой личности. Отчетливо помню родную деревню в разные годы ее существования, вижу поля и леса, по которым ходил подростком, наш дом с садом и огородом, слышу лай полуовчарки Султана, улыбаюсь козленку, который норовил меня боднуть в заднее место, если зазеваюсь. Много помню и из рассказов сестер Жени и Риммы.

Антоновка была небольшой деревней, может быть домов 30-40, но все из дерева, ухоженные, у большинства – яблоне-

вые сады с крыжовником, смородиной, малиной. У нашего дома было много яблонь и большой участок малины, в жаркие дни я прятался под ее тенью. Такое чудо для холодной Сибири не случайно, это дело рук воронежских крестьян-переселенцев, сумевших трансплантировать свой образ жизни и навыки в новом краю. До Великой Отечественной войны колхоз, созданный в Антоновке, развивался, хорошел. Даже я еще видел, как выглядели не только дома крестьян, но и общественные постройки. Коровники, конюшни, овчарни, свинарники, кладовые для хранения зерна, магазин, начальная школа, детский сад, клуб, правление колхоза – это всё деревянные, хорошо сделанные строения. Клуб меня просто восхищал: большой зрительный зал, в нем показывали кино, проводили собрания, а за ним, сбоку, небольшие комнаты, предназначение которых я уже не помню. Потом в нем поселят высланных литовцев.

Родители работали в колхозе, отец – член правления, животновод, говоря по-современному, руководитель всего животноводческого комплекса, мама – доярка, его подчиненная. Сестры Женя и Римма учились, а меня отводили в детский сад. Много позднее расскажут, что Вовка Сапрыкин доставлял немало хлопот воспитательницам. В послеобеденный сончас не спал, лишь прикидывался спящим, а потом убегал. Его находили сидящим у запертой двери дома, так повторялось несколько раз. Естественно, ничего этого я не помню. Из рассказов родных и близких мне известно, что

у нас была прочная, любящая семья – отец, мать, нас трое детей, бабушки, тети и дяди. Все очень близки, слово «двоюродный» отсутствовало. Отец и мама очень любили друг друга и нас, детей. В доме был патефон с набором пластинок русских народных песен, гитара, на которой играла мама и пела любимые песни. Среди них «Мой костер в тумане светит», «Окрасился месяц..» и другие. Папа тоже хорошо пел, Римма и Женя помнили его пение. Нас хорошо одевали, баловали, отец привозил подарки из своих поездок в район и область. Колхозный животноводческий комплекс успешно развивался, его руководитель Сапрыкин Александр Васильевич в 1939 году в составе делегации был направлен на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве – прообраз ВДНХ. То было признание заслуг колхоза и лично отца, своеобразная награда за труд. Из Москвы папа привез девочкам платьица, а мне «испанку» с кисточкой. Баловал отец и маму, доставлял ей радость своими сюрпризами.

При этом он обладал цельным, словно выточенным из металла характером: не пил и не курил, презирал праздность, расхлябанность, краснбайство, дело ценил превыше всего, ненавидел стяжателей и приспособленцев, во всем и везде – на работе и дома – был строг и требователен. До меня дошли два эпизода из жизни и образа отца. Однажды мама, колхозная доярка, обратилась к нему с просьбой выписать новые пимы, поскольку старые износились и прохудились. Ответ был однозначен: подожди, твоя очередь еще не подошла,

пусть получают те, кто впереди тебя... Мама, резкая и вспыльчивая, настаивала: *«Шура, ты же член правления колхоза, можешь взять пару валенок без очереди»*. *«Не могу»*, – был ответ. На следующий день мать пошла в кладовую колхоза, и ей выдали валенки. Отец, придя вечером с работы, строго взглянув на маму, взял пимы и утром отнес их назад, жестко объяснив кладовщику, что так делать нельзя. Второй эпизод, рассказанный мне сестрами Женей и Риммой, не менее примечателен для моего понимания личности отца. Однажды он встретил своих дочек, которые шли к дому от околицы деревни. *«Откуда вы идете?»* – спросил отец. *«Мы были на клуне, взяли семечек»*... Не ругаясь, он взял сестер и молча повел назад к этой самой клуне, где высились гурты пшеницы, ржи и злополучных семечек. *«Высытайте, – спокойно сказал отец, – и больше так не делайте»*... Вроде бы мелочь, но из них формируется личность.

К сожалению, об этом я знаю лишь из рассказов сестер, которые старше меня на восемь и пять лет, сам же почти ничего не помню об отце. Мне было пять с половиной лет, когда папа 12 июля 1941 года был призван в ряды Красной Армии, казалось бы, что в моей памяти могло быть больше картин из жизни отца. К сожалению, мои воспоминания почему-то не простираются ниже пределов семилетнего возраста. Сравниваю себя с моими внуками Женей и Кириллом, они помнят всё свое раннее детство еще до школы, кажется, с трех лет. Первый иногда, по праздникам, вспоминает, как я вез его на

санках в сквере им. Павлика Морозова (это рядом с так называемым «Белым Домом», реставраторы капитализма вымарали и опорочили имя советского пионера и выбросили стоявший бюст), на уклоне поскользнулся, грохнулся на спину, шапка отлетела далеко в сторону, санки с внуком полетели вниз, а он громко, с восторгом хохотал. Другой, младший внук, с не меньшим удовольствием иногда вспоминает, как мы обманули бабушку Аллу. Она как-то отправила нас погулять на берег Москвы-реки, тот, что ниже смотровой площадки Воробьевых гор. Во время прогулки заметили шедший по реке прогулочный катер с пассажирами на борту. У ребенка загорелись глаза, не сговариваясь, дед с внуком решил бежать, догнать катер и прокатиться до Киевского вокзала. Сказано – сделано – рванули, держась за руки. В порыве я не заметил, как правая ножка внука ступила на травяной край дорожки, наполненный водой. Как теперь докладывать бабушке, что мы ослушались ее строгого наказа? *«Дед, не переживай, мы бабушке ничего не скажем»*, – так мой умный и принципиальный с раннего детства внук выручал незадачливого деда. Но бабушку трудно было провести, по его реакции она обо всем догадалась, мне был выговор.

Слушая воспоминания моих уже взрослых внуков, невольно сравниваюсь с ними и, увы, понимаю: мои собственные картины раннего отрезка жизни значительно беднее, их у меня почти нет до пяти-шести лет. При этом я всегда отличался хорошей памятью, что же случилось с ней в то

раннее детство, почему не помню отца, а вспоминаю лишь отдельные эпизоды, связывающие меня с ним? Они очень дороги, ибо являются связующей нитью с образом человека, давшего мне не только жизнь, но и наполнившего ее основополагающими ценностями. Лишь эпизод, живущий во мне и сегодня, он связан с поездкой папы в Исилькуль. У бабушки Наташи была корова, которую, естественно, надо было чем-то кормить, желательно сеном, чтобы она давала молоко. Папа периодически возил бабушке продукты, а корове сено. Одной из таких поездок и воспользовался его непоседливый сын, который очень просился поехать в Исилькуль. Мама была категорически против и запретила брать меня, послушный отец уехал. Через несколько километров пути, осматривая воз, всё ли в порядке, обнаружил сына, вцепившегося в торчавшую сзади жердь. Что делать, возвращаться назад? Но отъехали от Антоновки довольно далеко. Закутав сына в свой пиджак, отец повез дальше, в бабушкин Исилькуль. Привез и... оставил на побывку. Я любил бабушку, ее дом, таинственный Исилькуль. Днем и ночью слушал паровозные гудки, которые словно звали в незнакомый, но прекрасный мир. Я, деревенский мальчишка, страшился его и в то же время хотел в него попасть. Эти звуковые символы отличались друг от друга, и я их хорошо различал: длинные, басистые, мощные гудки – это кричат могучие великаны, думалось мне, хотя что я мог знать о великанах; тонкие, короткие, визгливые, – я их не любил, – так верещат неприятные

существа, вроде сверчков (других сравнений у меня не было), их я знал и не любил.

Но всё когда-то кончается, даже аромат приключения, надоедают бабушкины обеды, а паровозные гудки вызывают тревогу и какое-то щемящее чувство тоски по родной деревне, где тихо и так вкусно пахнет яблоками, малиной, крыжовником, что растут в саду у дома. А еще желание поскорее увидеть отца с матерью, сестер, друзей из соседних домов. Домой, только домой! Но где же папа, почему он не едет, ведь бабушка старенькая, она с трудом ходит, на нее надежды нет. Помню, как, охваченный этим чувством, выйдя за порог дома, плакал и причитал: *«Серенький, миленький, забери меня отсюда, увези к маме, к папе!»*. «Серенький» – так звали колхозного коня, на котором ездил член правления колхоза, животновод Сапрыкин Александр Васильевич. «Серенький» для меня был не просто лошадей, а другом, товарищем, от которого исходили доброта, ласка, надежность. Видимо поэтому очень любил лошадей, с ранних лет мечтал быть конюхом. Если бы не война, унесшая 27 миллионов жизней советских людей, погубившая и моего отца в 37 лет, то моя жизнь и всех других «детей войны» сложилась бы иначе. Я стал бы агрономом, или, как папа, животноводом, уж конюхом бы наверняка. Я и сегодня в душе остаюсь тем деревенским мальчишкой, которому близко и дорого всё: кони, коровы, лес, поле, речка, озеро, болото, крик населяющих их птиц и птичек. Деревья для меня, особенно березы, мощные

сосны, это – живые существа, с которыми я мысленно разговариваю, а иногда и вслух. Теперь уже не в Сибири, родной Антоновке, а здесь, в Подмосковье, много лет посещаю одни и те же места, где ждут меня мои верные друзья – деревья, которым, как и мне, помногу годков. Я им желаю здоровья и счастливой участи – не попасть под топор «реформаторов», хищных реставраторов капитализма.

Других личных воспоминаний из тех пяти лет почему-то не осталось, хотя, замечу, всегда отличался хорошей памятью. Учась в школе, стихотворения и прозу запоминал с третьего чтения и воспроизводил их с упоением. В МИЭМе студенты иногда мне говорили, как много я помню. Даже сегодня, в 85 лет, не страдаю провалами памяти. И всё же, думаю я, почему так мало воспоминаний об отце, о нашем деревенском доме, о том счастливом, радостном и безмятежном детстве, когда вливаются в ребенка живительные соки бытия, закладываются в нем все основные качества личности? Не знаю, почему. Думаю, что последовавшие события сломали, разрушили мой радостный мир, и наступила пора тревог, несчастий, горя, чёрной пеленой закрывших розовые картины раннего детства. Великая Отечественная война разделила, разломила мой мир надвое, куда-то ушло, улетело счастье, начались суровые будни, наполненные тяжким, изнурительным трудом мамы, ее борьбой за наше существование. Известие о гибели отца в 1943 году потрясло меня, я вдруг ощутил себя взрослым, мужиком, которому не до сен-

тиментальных воспоминаний.

Можно вообще сказать, без всякого преувеличения, у меня, как и миллионов сверстников, где бы они ни были, на фронте или в тылу, детства в настоящем смысле слова не было. Очень точно потом уже, после победы над лютым врагом, таких как я назовут «подранками». Война лишила нас детства, а наших матерей, совсем молодых женщин, – мужей, любви, счастья. Моей маме, Клавдии Ивановне в 1941 году было всего тридцать три года, каково ей было навсегда проститься с мужем, отцом троих детей? Ей, колхозной доярке, надо было не только доить, но и поить, кормить коров, убирать навоз, а летом еще и пахать на них. А чтобы дети не умерли от голода и холода, нужно было обрабатывать огород, сажать, окучевать, окапывать картошку, запасть нужное количество, дабы хватило на целый год. Она должна была содержать дом: топить печь, пилить, рубить и привозить из лесу дрова, готовить еду для дочерей и сына, длинной, холодной сибирской зимой раскапывать занесенный по самую крышу дом. Морозы были настолько сильными, что разрывали землю, в ней образовывались большие трещины, вставшее солнце светило тускло, его обрамляли какие-то кольца. Мама наглухо закрывала двери, ведущие в горницу, голландскую железную печь переставала топить, вся жизнь сосредоточивалась вокруг большой, кирпичной русской печи, в которой варила борщ из капусты. Она заготавливала ее с осени на всю зиму, большая кадушка стояла в сенях, замер-

шую капусту мама рубила топором, потом оттаивала – вот и борщ, и вместе с картошкой еда на целый день. Когда появлялась мука, то пекла и хлеб, но он только так назывался, в нем было 90% картошки и 10% муки. Я спал на печи – там было тепло и уютно. Забившись в угол и загородившись от мамы, при фитильке читал, – читал много, запоем. В четвертом классе прочитал «Тихий Дон», «Поднятую целину» и многое другое. Не случайно на Руси говорили, *«печь нам мать родная. На печи всё красное лето. Доброе – то речь, что в избе есть печь...»*. Спасибо тебе, русская печь, спасительница ты наша!

Я очень хорошо помню маму тех лет, ее усталое лицо, красные от работы и холода руки, твердую походку, порывистый темперамент, твердый, мужской характер. Она была сильной, энергичной, волевой женщиной, никогда не пасовавшей перед тяжелейшими трудностями и даже опасностями. Много из её характера передалось и мне. Только благодаря ей я и мои сестры Женя и Римма смогли выжить, учиться, получить профессии, усвоить лучшие нравственные, социальные, культурные ценностные ориентиры в жизненном пространстве. Все принципы и установки, которые исповедовал отец, мама сохранила и передала нам. Отец из армии писал ей: *«Продай всё, береги детей»*... Патефон и гитару мама не продала, с болью расставалась с одеждой папы, обменивала ее на продукты, прежде всего на хлеб. Однажды приехавшие из Северного отделения совхоза «Боевой» га-

стролеры стали предлагать антоновцам купить пшеницу. Поскольку денег у матери не было, она решила обменять две пары отцовских выходных белых с галошами чесанок (валенки, или, по-сибирски, пимы). Получила за них мешок пшеницы... Оказалось, что она была ворованной у совхоза, гастролеров, естественно, арестовали, а вместе с ними и покупателей. Их отвезли в Омск для проведения следствия. Не помню, сколько дней провела мать в заключении, мне казалось, что целую вечность, я остался один в доме. Сестры учились в Исилькуле, мне предстояло вести хозяйство: топил печь, кормил и водил поить на околицу деревни корову, давал корм поросенку, гусям и курам. Словом, учился всё делать по-матерински. Корову доить приходила тетя Маня, старшая сестра мамы, она же приглядывала за мной. Когда мама вернулась, я удостоился похвалы от тети. Маму освободили по окончании следствия, а воров посадили надолго. Увы, не только купленной пшеницы, но и заплаченных за нее валенок не вернули.

Разгоравшаяся война стала единственной, определяющей всю нашу с мамой, сестрами и тетей Маней жизнь, основой бытия, там находился мой отец, сражались братья Непряхины Александр и Геннадий. А мы здесь делали всё возможное, чтобы помочь им и всем бойцам одолеть врага и вернуться домой. Это мироощущение заполняло каждую клеточку не только взрослого, но и детского сознания, всего целепола-

гания. В 1943 году, мне исполнилось семь лет, я пошел в начальную школу, где учительницей стала родная сестра моего отца Раиса Васильевна Нужных. Хорошо, отчетливо помню, как шел домой из школы, когда меня записали в первый класс. Мне казалось, что я уже взрослый, поэтому старался шагать широко, твердо ставить ноги на землю, подбородок держал высоко, а глаза, как бы сами по себе, смотрели по сторонам улицы, должны же люди видеть, вот идет ученик – большой человек... Именно в годы войны возникло неизбывное чувство быстрее стать взрослым, помогать маме, дожидаться отца, которого к тому времени уже не было в живых...

Учился с наслаждением, с радостью шел на уроки, быстро научился читать и писать, легко запоминал стихотворения. С благодарностью вспоминаю Раису Васильевну, она не только хорошо учила, но дала возможность уже в этот отрезок времени приобщиться к классике русской литературы. Я всегда хотел бывать в ее доме, общаться с двоюродными братом Юрием и сестрой Риммой, и вообще чувствовать атмосферу их семьи, ведь в этом доме когда-то жил и мой отец – Сапрыкин Александр Васильевич. У Раисы Васильевны находились книги, которых в деревне не было. Благодаря ей я смог прочитать «Тихий Дон» и «Поднятую целину» великого Шолохова, которые произвели на меня не просто большое, а потрясающее впечатление. Григорий Мелихов, Макар Нагульников стали любимыми героями. Но учеба учебной, а глав-

ное – надо было работать, помогать маме. Обязанности по дому просты и незатейливы, на первый взгляд: пасти поросята, гусей и кур, смотреть за огородом летом, осенью собирать урожай картошки, свеклы, моркови, тыквы, капусты, затаривать, засаливать и т.д. и т.п. С раннего утра, едва всходило солнце, и до позднего вечера, когда оно заходило и становилось темно, шла работа в домашнем хозяйстве. Мама, колхозная доярка, урывая время от своей главной сферы – обслуживания закрепленных за ней коров, вела это хозяйство. Чего ей это стоило, могла бы рассказать только она... В такой женской, обездоленной среде и могли сложиться эти до слез горькие строчки: *«Я корова, я и бык, я и баба, и мужик»*...

Колхозное производство зерна, мяса, молока, шерсти работало на армию, солдат надо было кормить, одевать, вооружать, эти простые, как мычание, истины хорошо понимали антоновские крестьяне, вечная им память, пусть святится имя каждого из них. Самим колхозникам, работавшим за трудодни, мало чего доставалось от произведенной ими продукции. Денежных выплат не существовало, только в виде натуральной продукции, и то в конце года, когда собирался урожай зерновых. Распределялось по числу трудодней то, что оставалось после обязательного выполнения госзаказов. Как сейчас помню, к нам в дом привезли два мешка пшеницы, их поставили в горницу, чтобы потом из нее смолоть муку. Это – за год работы матери и на весь последую-

щий год жизни, до следующего урожая. Поэтому мука была на вес золота, она лишь добавлялась в ведро картошки для выпечки хлеба. К весне, как правило, мука исчезала совсем, я с другими ребятами ходил «за колосками», тем, что оставалось на полях после прошлогодней жатвы. В Антоновке урожайность зерновых – ржи и пшеницы – была крайне низкой, уже некому было выращивать хороший хлеб, наши отцы кровавую жатву вели на фронте... А на полях соседнего Северного отделения совхоза «Боевой», где еще сохранялся высокий уровень выращивания пшеницы, мы находили много колосков. Но там нас подстерегала опасность, подкарауливал конный объездчик. Зная об этом, мы жались к околкам (небольшие лесочки на полях), и как только объездчик выскакивал из-за них, мы опроретью бежали в середину леса, где еще лежал глубокий рыхлый снег, конь, утопая в сугробе, не догонял нас. Так мы убегали с добычей, унося в котомках собранные колоски. Дома их сушили, выбивали зерно, мололи на ручных мельницах. Хорошее знание природы позволяло использовать еще один источник добычи хлебного зерна: мы стремились найти норы хомяков и сусликов, лопатой раскопать до глубины и обнаружить зерновые запасы зверьков. Однажды и мне улыбнулась удача, из такой норы я набрал почти целое ведро пшеницы. Нет, нас не мучила совесть, мы жили природой и тем самым спасали свою жизнь. К тому же мы знали, что в наступившей весне зверьки не пропадут, молодая трава – их любимое блюдо. Кроме сбора

колосков мы, я в том числе, собирали на огородах прошлогоднюю картошку, пролежавшую зиму под снегом, промывали, просушивали, толкли в ступе, полученный крахмал в виде маленьких лепешек жарили на огне и ели. Когда на болоте вырастали осока, пучки (борщевик), мы мастерски вытаскивали их длинные мясистые корни, слегка сладковатые, и лакомились. Лебеда и крапива спасали в летний период, это вместо капусты.

Конечно, тяжелее и опаснее всего было зимой, когда морозы достигали тридцати, сорока и более градусов. Тут могли спасти от голода и неизбежной смерти только осенние заготовки еды. Все силы мамы уходили на добывание еды. Хомяки запасали зерна, а она – картошку, свеклу, морковь, капусту, лук, тыкву. Естественно в эту работу был включен и я, мои обязанности состояли в помощи взрослым: посадить, посеять, собрать урожай, а летом сберечь его от набегов птиц и других хищников. Мама уходила на работу, а я должен был, не теряя бдительности, следить, чтобы гуси, куры не поклевали посевы, не дай бог, чтобы в огород не залез выросший поросенок, превратившийся в настоящую свинью, тогда всё пропало. Живя в деревне, я неплохо изучил повадки птиц и животных, в том числе и свиней. Многие считают, что свиней хряк, например, просто жирное, неповоротливое, глупое существо. Большой ошибки в отношении этого вида природных существ просто не может быть. Достаточно посмотреть кинокадры «Из мира животных», что-

бы убедиться в обратном: стада диких свиней под предводительством вожаков – ловкие, быстрые, опасные «сообщества», их боятся даже волки. Домашние свиньи, несмотря на столетия эволюции, в генетическом коде сохранили эти качества. Однажды к клуне в Антоновке пришла беременная свиноматка, сбоку у нее волочились кишки – она сумела отбиться от волка. Вот и мой кабанчик представлял опасность для меня, в чем я вскоре убедился на горьком опыте. Пока я смотрел на него, он мирно щипал траву, посматривая, однако, на меня маленькими красноватыми глазками под белесыми ресницами, но стоило только заиграться, как мирно пасущееся существо стрелой ринулось прочь в сторону огорода. Его рывок ошеломил меня, я кинулся следом, но было уже поздно: он как бульдозер двигался по дорожке выросших помидорных кустов, резко бросал вверх землю, растения и несся дальше. Со слезами я догнал его, врезал по свиной спине палкой и выгнал с огорода. Картина погрома была страшной. Я всё сделал, чтобы замаскировать это дикое свинство и собственный промах: попытался грядке придать прежний вид, вновь сформировать лунки и посадить в них стебли изуродованных помидорных кустов. Увы, тщетно! Мама рассмотрела всё, хотя уже стемнело, я готов был провалиться сквозь землю от стыда, от жалости к матери, какой же я засранец...

Надрываясь, она создавала запас еды, чтобы семья, не дай бог, не стала голодать, не пошла по миру, побираться, просить кусок хлеба у добрых людей. Я всё чаще видел таких

нищих из соседней деревни. А ещё на наших глазах привезли в Антоновку депортированных калмыков, которые просто голодали, скотоводы, они ели только мясо, а где его было взять в такое время. Мама, ранимая страданиями сосланных, один, другой раз наполняла ведро картошки и несла старому калмыку в землянку, куда его поселили. С горечью смотрела на эвакуированную еврейскую семью, которую поселили в нашем доме, помогала и им. Я помню до сих пор бабушку Риву и бабушку Хайку и двоих детей – мальчика и девочку, их имена, к сожалению, забыл. Мать боялась и не хотела подобных страданий мне, сестрам Жене и Римме. Выращивала и засыпала в погреб много, не помню сколько, мешков картошки – она главный наш спаситель. Из свеклы варили паутку, весь процесс приготовления этого сладковато-приторного продукта помню до сих пор. О капусте я уже сказал, вместе с картошкой они спасли нас в годы войны и не менее тяжкие послевоенные годы. Много выращивали тыквы, ее закатывали под кровати, она дозревала и была важным дополнением к картошке и капусте. Мама сушила яблоки, ранетки, малину, листья смородины – из этого получался вкусный чай. А ее старшая сестра Мария Ивановна Непряхина умудрялась даже выращивать экзотические для Антоновки дыни. Маленькие, чуть больше моего кулака, они были ароматными, очень вкусными. Я любил ходить в гости к тете Мане, она была для меня второй матерью, сразу сажала за стол: «*Садись, ешь...*». Она никогда не спрашивала, хочу ли

я есть, зная мою стеснительность, кормила, следила за тем, чтобы съел всё. Рассказывала о своих сыновьях, которые сражались на фронте, – это мои старшие братья, которые играли со мной, любили меня. Помню один конфузный случай: тетя Маня, держа в руках письмо брата Геннадия, сказала: «*Гена передает тебе привет*». «Давай!» – протянув руку, я попросил этот «привет». Тетя объяснила, что означает данное слово, мне стало стыдно... Увы, стеснительность, болезнь оконфузиться будут преследовать меня еще долгие годы.

А привет от брата Гены будет последней весточкой и мне, и матери – тете Мане. Он погибнет и останется лежать в братской могиле в Днепропетровской области, я нашел его слишком поздно, теперь навестить брата не могу, – там бесчинствуют погромщики советского мироустройства. Погиб и другой сын тети Мани – Александр, могила его неизвестна. А старший сын Леонид, мой брат, имевший бронь от призыва, работал на оборонном заводе в Омске, погиб от ураганного приступа дифтерии, спасти его не смогли. Мария Ивановна Непряхина осталась одна, не выдержав горя, от язвы желудка умер ее муж, мой дядя Алексей Яковлевич Непряхин. Война косила всех подряд, и на фронте, и в тылу.

Не могу не сказать еще об одном источнике нашей жизни в те годы – это самогоноварение. Зачем непьющей матери и мне, ребенку, понадобилась самогонка, – такой нелепый вопрос может возникнуть у того, кто ничего не знает и знать не хочет о военном времени, в котором жили люди, о тех обсто-

ательствах, в которые их поставила война. Самогон, говоря современным языком, – это «валюта», которой обездоленные женщины и их дети расплачивались за неподъемные для них виды работ. Вспахать плугом огород, чтобы потом посадить картошку, выкопать погреб, охватить железным обручем рассохнувшуюся кадушку, восстановить крышу дома, разрушенную ураганным ветром и дождем, накосить сено для коровы и привезти его к дому, «забить» свинью, сделать железные листы для варки на огне патоки, соорудить тот же самогонный аппарат – всё это и многое другое может сделать только мужик, которому надо платить за его труд. В отсутствие денег в качестве их эквивалента и выступала самогонка. Гнали ее из свеклы, высоко ценился «первач», понятие, широко известное в народе, оно даже включено в «Орфографический словарь русского языка». Я был весьма осведомлен о градусных отличиях самогонки. Наладив аппарат, мама сажала меня возле него, рядом ставила посуду и объясняла: время от времени взять пробу и осторожно, чтобы не обжечься, плеснуть в огонь под котлом, если горит, значит, первач, его сливать в большую бутылку, всё остальное – в другие емкости. Хороший первач имеет 65-70 градусов крепости, его любили желающие «обменять» свой труд на эту «валюту» и соглашались «помочь» нам с мамой. Впрочем, в Антоновке практически не осталось мужиков, способных выполнять тяжелую и квалифицированную работу, как и употреблять знатный первач, выручали ходившие по деревням

отходники из других мест.

Я хорошо помню двух антоновских мужиков, которые брались за помощь семьям, оставшимся без мужей и отцов, но они были совершенно разными в социальном и нравственном отношении. С теплотой и благодарностью вспоминаю Андрея Савельича Васина, скотника, ухаживающего за крупным рогатым скотом, за могучими быками-производителями. Внешне – настоящий русский богатырь, антоновский Илья-Муромец, он смело входил в загон, где цепями были привязаны два диковатых бугая, беря сильными руками за кольца в их ноздрях, умирнял и выводил на улицу, на водопой. Мы, мальчишки, с восторгом и страхом следили за актами проявления силы, воли, превосходства человека над казалось бы неподвластными существами. Правда, однажды случилось невероятное: Андрей Савельич допустил промашку, и бугай поднял его на рога. Израненный, он долго лечился, выздоровевший, вновь пришел к бугаям. Казалось, сама природа послала в то время Андрея Савельича русским бабам и их детям, он словно чуял их горе и беду, немедленно приходил на помощь, его сильные крестьянские руки умели делать всё: пахал, сеял, ремонтировал, строгал, точил, рубил, а еще успокаивал, вселял веру в победу над врагом, в возвращение мужей, сыновей, братьев домой. Не знаю, но думаю, что ему самому, наверное, помогала его молоканская религиозная вера, хотя он никогда об этом не говорил. Андрей Савельич не брал никакой платы за свой труд, а если пред-

лагали – решительно отказывался. Альтруист и абсолютный трезвенник, он был благодарен за обед хозяйкам, которые могли его накормить. Уважение к нему было безграничным, на него молились все. Совершенно другим был еще один житель Антоновки, Иван Каращуков. Небольшого роста, с хитрой лисьей физиономией, он редко появлялся на людях, поскольку слыл заядлым охотником и пропадал на болотах, стреляя уток и гусей. Когда его видели, он был с непременным ружьем за плечами. От колхозной работы его освобождал удивительный для того времени социальный статус – Каращуков был... *единоличником*. Жил вдвоем, позже родился сын, с женой, которую мы звали тетей Зиной. Она числилась уборщицей и сторожем в нашей деревенской школе, там же ей была предоставлена небольшая комната, в которой и пребывал муж – охотник-единоличник. От армии его спасала справка о якобы неизлечимой болезни... В деревне этому не верили, ходили упорные слухи, что Каращуков умело травит какой-то кислотой и обманывает врачей. Так ли это, не знаю до сих пор. Во всяком случае, слухи вряд ли были беспочвенными. Хронически больной одиноличник успешно прожил большую жизнь. В середине 80-х годов, находясь в командировке в Омске, я посетил родные места, в Новорождественске вдруг встретил Каращукова. Оказалось, предупрежденные Исилькульским райкомом партии власти колхоза решили сделать мне подарок – пригласили на встречу с ответработником ЦК КПСС, то есть со мной, оставшихся в живых

бывших антоновских жителей. К моему изумлению, среди них оказался и Иван Каращуков, которого я узнал, хотя это был совсем маленький, седенький, ссохшийся старикашка, но всё также остро смотрели его глазки, в них явно светилось любопытство: неужели это тот безрукий Вовка Сапрыкин, сын неистового отца – борца за справедливость? Каращуков вдруг приблизился и попытался обнять меня, по моему телу пробежала инстинктивная брезгливость. Я вспомнил, как он собирал дань с овдовевших антоновских баб, «валюта» для единоличника была одна – сметана и масло... Отрывая от детей и больных старух и стариков, истощенные, а подчас и голодные женщины несли эту «валюту» хищнику в человеческом обличье. Погибли воины Красной Армии, защищая оставленные семьи далеко в Сибири, давно умер альтруист Андрей Савельич, исчезла моя родная Антоновка, а этот любитель масла, сметаны и жаркого из дичи, жил припеваючи до самой глубокой старости. Проходимцы и приспособленцы умеют жить долго...

...Пришел 1944 год, весна, время весенних полевых работ. Весна год кормит, как потопаешь, так и полопаешь. Эти древние истины я усвоил с молоком матери. «*Клавдия, дай Вовку на работу*», – сказал однажды председатель колхоза маме. Так восьмилетним я был включен в важное государственное дело: помогать колхозу производить продукцию для фронта, где воевал мой отец. Начало было столь же простым, сколько и сложным для меня. Мне и другому под-

ростку пятнадцати лет было дано задание вспахать поле и тем самым подготовить его для посева зерновых. Я, так называемый погоныч (это украинизм, русское слово погонщик), должен управлять двумя парами рабочих быков. За их рога привязывалась длинная веревка – налыгач, шел от первой пары ко второй, так что я контролировал всех четырех. На быков надевалось ярмо, к ярму шло деревянное дышло, а за ним крепился плуг. Говорю так подробно потому, что даже мои умные внуки Женя, Кирилл, а тем более правнук Саша вряд ли представляют это давнее крестьянское изобретение. Плугом управлял, конечно, более сильный физически подросток, ведь землю нужно было не «царапать», а глубоко лемехом прорезать и переворачивать жирные, плодородные пласты земли. Гоны, то есть расстояния от начала поля и до его конца, были длинными, более километра. Я шел сбоку от быков, держа в левой руке налыгач, а в правой кнут, двигаясь то вперед, то назад, следил, чтобы равномерно тянули плуг обе пары, кнутом подстегивал ленившихся. Работали целый день – с утра и до вечера, в обед примерно один час отдыхали. Мокрые от тяжелого напряжения, быки ложились на траву и даже жвачку не жевали. Мы ели домашнюю снедь, которой снабжали нас матери. Колхозная кладовая на обед выдавала нам по порции хлеба, может быть граммов двести. Эту порцию нельзя было брать пальцами, а только держать на ладони, сырая, она рассыпалась, в ней было меньше муки, а больше проса и других добавок. Но мы ели и были довольны,

я, например, не столько разумом, сколько интуицией, чувством понимал, что пшеничный или ржаной хлеб отдан сражавшимся на войне красноармейцам, моему отцу. После дня пахоты приходил домой, валялся спать смертельным сном, утром мама с трудом будила, кормила и отправляла на трудовую вахту.

Моя работа в колхозе носила сезонный характер: зимой надо было учиться, а летом трудиться. После окончания пахоты и посева зерновых наступала пора заготовки кормов для коров, лошадей, овец, она длилась с июня и до конца августа. Эта работа целиком ложилась на плечи женщин и подростков. Я активно участвовал в сенокосении, выполняя различные обязанности: погоняч быков на сенокосилке, на конных граблях, на подборе валков – скошенной и высохшей травы, сена. Эти операции я освоил неплохо, особенно мне нравилось участвовать в подборе валков. Несколько лет я управлял одной и той же парой быков, одного звали Гордый, другого Маяк. Кто их соединил в одну пару, мне было неизвестно, но они, живые существа, по темпераменту и характеру, были совершенно разными. Гордый, словно оправдывая свою кличку, был быстрым, нервным, постоянно норовил сбросить с себя ярмо, Маяк – спокойный, невозмутимый, более сильный, чем его собрат, без волнений тянул свою «лямку». После того как скошенная трава высыхала, большими конными граблями ее собирали в валки, а их подбирали с помощью простейшего устройства. За концы брев-

на крепились прочные веревочные канаты, которые, в свою очередь, привязывались к ярму быков. Быками управлял я, а бревном – мой собрат, более сильный подросток; бревно заводилось под валком, посередине бревна – палка в его руках, обязательно вставленная в лежащий валок сена. Он должен был стоять обеими ногами на бревне, удерживать палку, а я, постоянно оглядываясь назад, погонять быков. Бревно подсекало снизу валок и поднимало его с земли вверх, тот увеличивался в объеме, образуя кучу сена, то есть копну. Копны затем свозили в одно место и из них формировали стог. Искусство собирателей валков, то есть мое и моего напарника, состояло в том, чтобы влекомое быками бревно, не дай бог, не скользнуло поверху валка, тогда подбор срывался, надо было останавливаться, разворачивать быков, заново заходить к месту скольжения. Так могло повторяться много раз. Если валок был толстым, то подбирался хорошо, а если тонким, слежавшимся и даже прибитым, прижатым к земле дождем, пиши пропало, бревно срывалось наверх, быки, не автомобиль с тормозом, уходили вперед... Хоть плачь, хоть ругайся, всё надо делать заново. Эта работа, необходимость как-то облегчить бестолковость поворотов «туда—сюда», заставили меня искать способы управления бычьей парой. Я начал громко, повелительно отдавать им команду: *«Гордый, Маяк, назад, еще назад!»*. Гордый мотал головой, крутил хвостом, не хотел пятиться, Маяк не понимал, что от него хотят, стоял. Так повторялось не один и не два, а де-

сятки, сотни раз. Ведь я руководил этой парой быков четыре с лишним летних сезона, и, о чудо, они начали слушаться меня. Стоило только отдать команду, Гордый и Маяк пятились назад, бревно мы тащили к месту «обрыва», всё получалось быстрее и лучше. Скажу больше: зимой, когда я не работал, иногда встречал мою пару, везущую сани с другими ездоками. Я здоровался с ними и не удерживался от команды: «Назад, ещё назад, Гордый, Маяк!». К изумлению сидевшего в санях, быки останавливались и пятились назад. Я убегал, вслед мне неслась ругань. Что поделаешь, мальчишка, хоть и воспитанный, не мог жить одной работой, ему хотелось радости, игры...

Мое прилежание в колхозе не осталось незамеченным. Однажды меня премировали мажарой сена, чему несказанно была рада мама: на зиму корове требовалось четыре мажары, а это значит, что одна уже есть. Стали приглашать меня и на колхозные собрания, на которых обсуждались все неотложные дела, давались оценки работающим, подводились итоги. Я приходил с кнутом, с налыгачем через плечо. Как-то мне даже предложили выступить: «*Слово представляется колхознику Владимиру Сапрыкину*», не удивился, сказал о своей работе, был горд. Сегодня я думаю, что в этом эпизоде проявилось отношение не только и не столько ко мне, сколько к отцу и матери, авторитет которых был высок и являлся оценочным примером для многих антоновцев.

Моя работа в колхозе неожиданно прервалась 10 августа 1948 года, когда мне было 12 лет. В этот августовский день случилась трагедия, еще раз поделившая мою жизнь на «до» и «после»... Я потерял руку во время работы на колхозном поле на сенокосилке. Мог бы сказать о своем не очень прилежном и добросовестном напарнике, который был старше меня на три года (помню его имя и фамилию), но говорю коротко и просто: виноват сам, допустил непростительную ошибку, ибо перестарался сделать больше, лучше, сказались природный максимализм и горячность. Это потом я научусь владеть собой, но всё равно буду исповедовать принцип: *хочешь сделать хорошо – сделай сам*. Во всей своей дальнейшей жизни никогда не буду сваливать вину на других, если мой подчиненный сделал или делает плохо, значит, я доверил дело не тому, ошибся в оценке его деловых и моральных качеств, допустил просчет. Этого работника нельзя было подпускать даже на пушечный выстрел, а я доверил ему важное дело. Мне есть о чем вспомнить за 50 с лишним лет работы в горкоме, обкоме партии, в аппарате ЦК КПСС, в Московском государственном институте электроники и математики (техническом университете), а еще в редакции городской газеты «Балхашский рабочий». Там я научился распознавать бездельников, краснобаев, прилипал и просто негодяев. Но это будет потом, а в 12 лет сам лез вперед, сорвался и упал на режущее полотно сенокосилки, кисть левой руки осталась на земле, мое счастье, что не попал вто-

рой рукой. Узнав, мама упала в обморок, у старшей сестры Жени случился выкидыш; так в 12 лет я стал инвалидом, ка-
лекой...

К тому времени и в семье произошло далеко не рядовое событие: мама решила выйти замуж. Однажды она обратилась ко мне: *«Вова, как ты посмотришь, если я выйду замуж... Как скажешь, так я и поступлю»*. Сердце мое сжалось, готово было выскочить из груди, я, одиннадцатилетний мальчишка, должен решать судьбу матери, свою собственную, окончательно поверить в гибель отца, которого я ждал днем и ночью. Всё промелькнуло перед глазами – годы борьбы за выживание, страх перед голодом и холодом, страдания матери, ее слезы, унижения бригадиром колхоза. Мама плакала редко, но я на всю жизнь, до дня сегодняшнего, запомнил три таких случая. После окончания начальной школы в Антоновке нам, бывшим ее ученикам, приходилось ходить в Новорождественскую семилетнюю школу, что примерно в трех-четыре километрах от нашей деревни. В условиях сибирской зимы, – морозы, снежные заносы, сугробы, – приходилось приспособливаться, собирались вместе, держась друг за друга, выходили из дома рано утром, еще было темно, а возвращались к вечеру, когда уже темнело. Часто хотели есть, в карманы старались взять несколько горстей жареной пшеницы, в обед проглатывали, запивая водой из стоявшего в коридоре металлического бака с прикованной к нему цепью кружкой. Мама одевала меня тепло: на ногах – вязаные

носки и пимы, на теле – кальсоны и ватные стеганые штаны, дальше – майка и пошитая гимнастерка защитного цвета, на голове – теплая шапка, на руках – вязаные из шерсти рукавицы. Я вырастал, и возникала проблема с верхней зимней одеждой. Вполне естественно, что младшим всегда достается одежда старших. Так, мама надела на меня пальто Риммы, моей сестры. Оглядев себя, я решительно воспротивился: пальто, узкое в талии, расширенное книзу, превращало меня в девчонку... Все увещевания матери не действовали на меня. *«Ведь замерзнешь же, у меня ничего больше нет»*. С этими словами мама набуцкала меня по спине и горько заплакала.

Однажды мы ходили в магазин за керосином для лампы, она, видно, заметила, как я смотрел на круглые шарики конфет, и спросила: *«Хочешь конфет?»*. Проглотив слюну, кивнул. Денег у мамы больше не было, она *под запись* купила двести граммов карамели, пахнущей мышами. Пока шли от магазина к дому я съел всё содержимое кулька, и меня начало рвать, причем так сильно, что, казалось, вывернет желудок. Мама так плакала, что у меня зашло сердце. Другие ее слезы были не менее трагичными для меня. В доме у нас был колодец, но с соленой водой. Мама часто ходила довольно далеко в березовую рощу, что была за нашим огородом за пресной водой, на коромысле приносила два ведра хорошей, вкусной воды, которую пили, с ней варили, ею умывались. Приходилось ходить по меже, разделяющей наш и со-

седский огорода. Возможному читателю напомним, что межа – это своеобразная черта, граница, разделяющая земельные участки, она ничья. В словаре Владимира Даля говорится: «*Межа – и твоя и моя. Межа святое дело*». Но у колхозного бригадира, хромоного соседа Егора Халецкого вообще ничего святого не было. «*Клавдя, ты не ходи по моей мяже*» – услышал я, поджидая маму. Мать – жена погибшего красноармейца, самоотверженная труженица, награжденная правительством СССР медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг.», рыдала, словно над покойником. Позже я подкараулил негодя и произнес: «*Вырасту – убью*». Перетрусивший хам злобно ответил: «*У, волчонок, весь в отца*». Он не знал моего отца, поскольку поселился в Антоновке позже, переехав из другого района. Но был наслышан о Сапрыкине Александре Васильевиче, борце с ворами, бездельниками, хамами.

В одиннадцать лет я уже не был наивным ребенком, в моей подростковой субстанции гнездились сознание взрослого человека, мыслящего рационально, предметно, хорошо понимающего реальную жизнь со всеми ее сложностями, противоречиями, горестями и бедами. Поэтому на вопрос матери о возможном ее замужестве ответил сразу, как будто готовился заранее: «*Выходи, всё будет легче*»... Так в доме появился Васин Василий Иванович, фронтовик, прошедший всю войну, вдовец, у него умерли жена и маленький сын. Разумеется, никакой свадьбы

не было, состоялся домашний ужин, на который были приглашены мамаина сестра Мария Ивановна Непряхина, сестры моего отца Татьяна Васильевна Лоскутова и Раиса Васильевна Нужных. Я ушел во двор и разрыдался, рыдания сотрясали мое тело, я упал на землю, прижался к ней, боясь, что меня могут услышать. Конечно, с приходом в дом отчима матери стало намного легче, работающий, он взял на себя все тяжелые работы. У меня с ним сложились ровные, «деловые» отношения: пилили дрова, копали огород, многое делали вместе, разговаривали спокойно, по делу. Я не впускал его в свой внутренний мир, а он не старался играть роль отца. Не думаю, что у него с матерью была любовь, просто два несчастливых человека в то время нашли друг друга и пришли на помощь. Есть выражение «брак по расчету», но этот расчет может быть очень разным – корыстным, меркантильным, обманным и т.п. **Клавдия Ивановна и Василий Иванович – люди, обожженные войной, страданиями, потеряли своих близких, этим союзом спасали себя в послевоенном всё ещё невероятно трудном времени. Так было в той жизни...**

У меня лично мало что изменилось, продолжал учиться зимой, работать в колхозе летом. И вот эта трагедия, враз превратившая меня в инвалида. Я мог уже тогда умереть. Кисть руки я положил в ящик для инструментов, культю обмотал сорванной с тела рубашкой, сел на железное сиденье сенокосилки, напарник повел быков в деревню. Там встре-

тил нас отчим, мама упала в обморок, он тут же запряг пару лошадей и погнал в соседнюю деревню Новорождественку, там имелся медпункт. Медсестра Варя Рягина сорвала пропитанную кровью рубашку, перевязала рану, выше локтя затянула жгутом. Вернулись в Антоновку и вместе с мамой поехали в Исилькуль, в райбольницу. Поездка, которую не забуду до сих пор, была непростая: стоило разогнать лошадей, телега начинала резко подскакивать на рытвинах проселочной дороги, кровь из обрубленной культи толчками цвиркала через намотанные бинты, останавливались, теряли драгоценное время, я мог истечь кровью. К вечеру добрались до больницы, но там отказались принять меня, нужно направление из амбулатории, так тогда называлась поликлиника. Вернулись к амбулатории, увы, был уже вечер, врачи ушли домой. Мой отчим, Василий Иванович, вновь погнал лошадей к стационару больницы, там снова отказали в госпитализации. Спокойный и в целом всегда ровный, выдержанный фронтовик, он покрыл больничных бюрократов матом, после чего меня, уже еле живого, положили в палату. Утром пришел хирург, осмотрел и объяснил матери, что прошло уже много времени, в рану могли попасть грязь, микробы, к тому же большая кровопотеря у больного. Придется ампутировать руку выше локтя, может быть, до плеча, чтобы избежать заражения... Мама встала на колени, умоляла спасти хоть что-нибудь от изувеченной руки. До сих пор помню фигуру и лицо хирурга: плотный, среднего роста, краснолицый,

он вошел в операционную, когда медсестры уложили меня на операционный стол. «*Материться умеешь?*» – неожиданно спросил он. «*А как же...*» – ответил я. «*Ну, давай*»... «*Но здесь же женщины*»... Резкий, жесткий, ироничный, как все хирурги, – их будет много в моей жизни, – он проникся горем мамы, рискнул и оставил мне часть руки, эта культя будет служить мне до конца моих дней. **Низкий поклон Вам, дорогой хирург!**

В больнице я провел двадцать дней, за это время успел много насмотреться, увидеть разных людей, вдохнуть запах незнакомых мне лекарств, гниющих ран. В палате лежал красивый молодой брюнет, похожий на цыгана, у него была оторвана почти вся задняя часть ниже спины, он лежал только на спине, руки на боку. У окна дежурил милиционер, стерег молодца, тот, оказалось, был вор-рецидивист, домушник. Когда лез в окно, получил полный заряд дроби из ружья. Он недолго находился в нашей палате, его вскоре увезли в тюрьму, уходя, весело смеялся, скалил белые зубы, мне особенно желал скорейшего выздоровления. Полностью лежачим был дядька в солидном возрасте, он получил тяжелейшее увечье во время работы на каком-то механическом агрегате, произошел разрыв шнека, тяжелое чугунное колесо сорвалось с крепления и, словно пушечный снаряд, пробило стену, круша всё на своем пути, изувечило машиниста, но случилось чудо – тот остался жив. Он часто со мной говорил, искренне соболезновал моему несчастью, советовал,

как дальше строить жизнь, я чувствовал в нем какое-то отцовское отношение.

В конце августа меня выписали из больницы и дали направление в амбулаторию на долечивание, Антоновка была далеко, она снилась мне во сне, хотел к маме. На «свободу» вышел с сумкой в правой руке, левая, обрубленная, лежала в косынке, завязанной на шее. Шагнув за порог больницы, не только и не столько разумом, сколько всей кожей ощутил: вот и началась моя новая жизнь, – «после», совсем не придуманная и не приснившаяся, – жизнь инвалида третьей группы Вовки Сапрыкина. «До», – я, конечно, немного знал, когда видел инвалидов войны, мне было их очень жалко. Казалось, все они лишены каких-то радостей жизни, им трудно работать, учиться, они не могут служить в армии, им постоянно кто-то помогает. Я вряд ли ошибался в этом своем чувстве, так думали и многие другие люди, инвалиды, или, в широком, массовом обиходе, калеки существуют в каком-то ином мире, отличном от мира здоровых, жизнерадостных людей. Впрочем, позже я прочитаю в словаре Владимира Даля, как массовое мироощущение на Руси отражало феномен инвалидности. *«Инвалид, отслуживший, заслуженный воин, неспособный к службе за увечьем, ранами, дряхлостью. Инвалидка, жена инвалида, увечная, дряхлая»*. Доживи Даль до наших дней, ему пришлось бы изменить смысл определения инвалидности. Один Алексей Маресьев своим мужеством опровергает представление о неспособно-

сти инвалидов к службе. А сколько других фактов об удивительной жизнеспособности инвалидов как в нашей, так и в других странах мира! Пройдет не так много времени, я сам опровергну ошибочное представление об инвалидах, людях, обиженных судьбой...

Но надо жить дальше, прежде всего продолжать учебу. Сегодня, когда пишу эти строки, я понимаю, что надо было пропустить один год и, набравшись физических и моральных сил, идти в шестой класс. А тогда всё моё существо стремилось войти в мир здоровых людей, как раненая птица, хлопая крыльями и валясь с боку на бок, пытается догнать улетающую стаю. Изнеможенный физически, опустошенный духовно, оторванный от матери, решил не терять времени, записался в восьмилетнюю школу на улице Энгельса в Исилькуле, недалеко от дома бабушки Наташи, в нем я должен жить до выздоровления, ведь каждый день нужно ходить на перевязку в амбулаторию. Класс, куда я пришел, встретил меня, чужака, не только с любопытством, но и с какой-то настороженностью, между нами незримо пролегла «межа» отчужденности, недоверия. Я был замкнут, а ученики класса не спешили растопить лед подозрительности. Да и учителя школы словно не заметили приход раненого ученика, как будто таких было много, подумаешь, еще один... Я не помню, чтобы ко мне подошел классный руководитель, как-то попытался выяснить, что это за «гадкий утенок» появился в его классе. С каждым днем атмосфера отчуждения на-

растала, некоторые ученики, не стесняясь и не боясь, начали открыто травить меня, называть безруким, калекой. Всё сжималось во мне, я превращался в затравленного зверька. Однажды принес в школу камень и погнался за обидчиком, к счастью, не догнал. В такой обстановке откровенной враждебности было не до учебы. Алгебра, в отличие от арифметики, мне казалась совершенно недоступной, ее абстрактные «а» плюс «b» не доходили до моего сознания, а учитель математики, рослый, физически сильный, с крупной округлой головой дядька, уверенно продолжал углубляться в хитро-сплетения алгебраической премудрости. Не знаю, как другие ученики класса осваивали их, я же безнадежно тонул, даже не пытаюсь позвать на помощь. Вокруг – чужой, опасный, враждебный мир, дальше от него... Мамы нет, она далеко, в Антоновке, больная, старая бабушка живет молитвами, еле-еле справляется со своей болезнью. А тут еще надо регулярно ходить в амбулаторию на перевязки, культя заживала плохо, из нее продолжала вытекать сукровица.

...Дни становились короче, в доме бабушки всё холоднее, тоска по родной деревне, по матери была невыносимой. Не выдержав, встал однажды утром и объявил: всё, ухожу домой. Собрал нехитрые пожитки, учебники, тетрадки, связал их в стопку, оделся – и в дверь. «*Возьми вот ещё бидон, он пригодится матери*», – произнесла заботливая, добрая моя бабушка Наташа. Октябрь, солнце, холодное и тусклое, едва поднявшись, торопится к закату. Надо идти быстрее, по-

ка совсем не стемнело, можно нарваться на волков или, споткнувшись о камень на дороге, упасть. Это было бы совсем некстати. Но как всегда помогает родная природа, она выручит. На опустевших полях стоят стога соломы, вот и ночлег, теплый, безопасный. Вырыл нору, залез, вход замаскировал, съел картофелину, запил предусмотрительно взятой в бидончике водой, – можно и вздремнуть. Сон в соломенном стогу тревожный, разорванный мыслью, – не проспять бы. Но это мои городские недоброжелатели могут проспять, их разбудят папа с мамой, а я не просплю, – папы нет, мама далеко, я дойду до нее. Дошел к вечеру следующего дня, мама ахнула, увидев свое дитя.

Началась знакомая антоновская жизнь. Через день с друзьями пошел в шестой класс Новорождественской школы, был встречен учениками и учителями как солдат, вернувшийся из госпиталя. Но надо было явиться и в медпункт колхоза, к знакомой уже Варваре Рягиной (в деревне ее звали просто Варькой, что очень коробило меня). Она попросила выписку из амбулатории, я сделал вид, что мне ничего не давали, просто объявили на словах, могу ехать домой. Покачивая головой, строгая и добрая медсестра размотала бинты и еще раз возмутилась: *«Как же они могли тебя выписать с открытой раной?! Чем же я буду лечить?..»*. Нет, она не завернула меня назад, а растолкла красноватые таблетки стрептоцида и засыпала рану. Я приходил к ней после школы каждый день, процедура повторялась, и, о чудо, рана

окончательно затянулась. **Всю жизнь буду помнить медсестру Варвару Рягину и мысленно благодарить, она излечила меня полностью и окончательно, рука не болит, не саднит, только всегда, до сегодняшнего дня, в окончаниях сосудов чувствую кисть отрубленной руки – ладонь, пальцы, которые нет-нет да и зачешутся, словно живые.**

В школе дела вроде бы поправились, как и раньше учился с охоткой, с прилежанием, особенно по истории, географии, биологии, литературе, русскому языку. Прекрасно помню филолога **Веру Федоровну Жирнову. Красивая, с тонкими чертами лица, выразительными глазами, доброй улыбкой, она завораживала класс объяснением правил, чтением стихотворений, к каждому из нас проявляла внимание и терпение. Меня Вера Федоровна явно выделяла, хвалила мои изложения, которые писали на уроках, почерк и чистоту тетрадей. Она ходила по рядам класса и, держа развернутую тетрадь, говорила: «Смотрите, как пишет Вова Сапрыкин, какая у него чистота в тетради». Разумеется, мне был о приятно, в такие моменты я чувствовал себя счастливым. Совершенно иначе складывались мои отношения с алгеброй. Я так ничего не понял еще в исилюкульской школе, а здесь вообще складывалась катастрофическая ситуация. Преподавание вел молодой человек со средним образованием, все звали его Валька, фамилия Верховский. Знал ли он что-нибудь в премуд-**

ростях алгебры, геометрии, мне неизвестно. Ему было не до меня, а мне – не до него. По сравнению с тем, что я еще помнил из Исилькуля, он ушел далеко вперед в освоении программного курса. Выход один – списывать у тех друзей, кто что-нибудь понимает.

Так длилось целых два года, и никто в школе не обратил внимания на меня и подобных мне учеников, не пришел на помощь. Да и откуда появиться этой помощи, если физике учил Петр Иванович Коротков, преподаватель физкультуры. Фронтвик, у него была изувечена левая рука, умел громкими командами строить учеников, учить их маршировать, тут у него получалось неплохо. Иная картина была на уроках физики, мы понимали, что он ничего не знает, а потому в классе стоял шум, возня, смех. Преподаватель злился, кричал, пытался найти зачинщиков, но становилось только хуже. В классе был парень, рослый, сильный, явно старше нас, он придумал кличку Петру Ивановичу и забавлялся на его уроках. Приставив ко рту руки рупором, наклонив голову низко над партой, так чтобы звук шел вниз, он рычащим голосом произносил: «*Гоша, Гошка*»... Учитель долго не мог вычислить безобразника, между ними началось противостояние. В один из понедельников Коротков всё же опознал своего противника и громко скомандовал: «*Вон из класса, без родителей не появляйся!*». Нарушитель даже не пошевелился, смотрел дерзко, с вызовом. Рассвирепевший учитель подскочил к нему, вцепился в его руку и стал тащить

из-за парты. Тщетно, силы были явно неравны. Класс замер, что же будет... Слышалось пыхтение, парта под напором борющихся начала двигаться от стены в сторону прохода, раздался металлический звук и по проходу потекло молоко... Этот парнишка, из дальней деревни, принес бидон молока, которым питался, живя на съемной квартире. Чем закончилось это противостояние, я уже не помню, как забылось и имя соученика.

А вот с Петром Ивановичем мне пришлось и дальше общаться. Он, как мне казалось, хорошо рисовал, я любовался портретами И.В. Сталина в маршальской форме, во весь рост. В январе 1949 года в моей жизни произошло важное событие – я вступил в ряды Ленинского коммунистического союза молодежи. Мне никто не предлагал, не «тащил» в комсомол, об этом сегодня с мазохистским наслаждением любят рассказывать антисоветчики разных мастей, выдавать себя за героев – сопротивленцев тоталитарному режиму. Я был подготовлен всей своей короткой жизнью, образами отца и матери, бабушки и дедушки Майоровых, их сына Егора, общением с коммунистом дедом Волосниковым. Меня подготовили страницы «Тихого Дона» и «Поднятой целины», мне хотелось бороться с мерзавцами, которых я знал и ненавидел. В комсомол принимали с четырнадцати лет, я же прибавил себе год и таким образом получил комсомольский билет в тринадцать лет. Это событие тоже связано с именем Петра Ивановича Короткова, он, фронтовик, прошедший вой-

ну, придал ему почти фронтовую значимость. Всех претендентов, человек пять, он построил в школьном дворе, произнес речь, наш пеший поход от Новорождественки до Исилькуля он сравнил с марш-броском бойцов Красной Армии, которым поручено выполнять важное государственное задание. Вдохновленные, мужественно преодолели двадцать пять километров, нам нипочем были мороз, заносы на дороге, встречный ветер.

...Заканчивалось обучение в седьмом классе, на носу выпускные экзамены, в том числе по алгебре. Мой страх был напрасным: учитель раздал нам шпаргалки, чему мы все были несказанно рады. А по химии, например, которую нам вообще не преподавали, просто выставили какие-то оценки, я думаю тройки, и мы получили право говорить о своем неполном среднем образовании. На собрании выпускников директор школы назвал лучших, среди которых неожиданно оказался и я. «*Это, –* сказал он, *– наши сливки*». Сравнение показалось странным, я не понял тонкости метафоры. «Доброта» учителей, похвала директора и моя деревенская наивность еще аукнутся мне, когда приду в восьмой класс Исилькульской средней школы № 1.

Но так далеко я не смотрел, меня волновала другая, неотложная мысль – ехать в Омск на протезный завод, смириться с участью инвалида было невозможно. С трепетным волнением ступил на территорию завода и сразу увидел то, что вначале потрясло меня, а после заставило задуматься и ина-

че взглянуть на самого себя, на дальнейшую собственную жизнь. В одном месте столько инвалидов – безруких, безногих, на костылях, одних везли, других даже несли. То были искалеченные, оставшиеся жить жатвенные дети страшной кровавой войны. Навстречу мне попались молодые мужчина и женщина, одинаково высокие, красивые, хорошо одетые, он в сером костюме, с очень бледным лицом. Я невольно остановился и вздрогнул, из рукавов пиджака показались странные «руки» – две длинных клешни, обтянутые кожей. Они нырнули в карман и вынули из него коробку, на которой был нарисован всадник, потом я узнаю, что так обозначались папиросы «Казбек». Этими же клешнями мужчина открыл коробку, вынул папиросу, взял в рот и повернул лицо к спутнице. Та из другого его кармана достала спички, зажгла и дала прикурить. Они двинулись дальше, а я, остолбеневший, смотрел им вслед. За время прохождения комиссии, всех процедурных дел я узнаю многое об инвалидах-фронтовиках, о человеке со странными руками. Врачи разрежали у него лучевые кости, обтянули их кожей, мужественный фронтовик научился ими управлять...

Он будто сказал мне: что же ты скис, у тебя есть здоровая рука, ты всё можешь, перестань страдать. В коридорах и кабинетах протезного завода я не увидел ни одного плачущего инвалида, без рук и без ног они мужественно справлялись со своим положением, ни боли, ни жалобы, ни даже страдальческого взгляда ...

Сделанный для меня протез был тяжеловат, в кисти металл, через плечо и под мышками ремни, удерживающие его. К протезу выдали набор инструментов: молоток, крюк для ношения тяжести, например, ведра с водой, кольцо. Кисть снималась, а кольцо вставлялось в гильзу протеза. Так я получил некоторую возможность включить и левую руку в тот или иной вид крестьянской работы. В кольцо вставлялся черенок лопаты или косы и пожалуйста – копай, коси, забивай молотком гвозди и т.д. и т.п.

В колхозе уже не работал, а по дому дел предостаточно. Отчим и мама трудились на овчарне, за ними было закреплено свыше шестисот овец: кормить, поить, лечить, выхаживать ягнят. Зимой отара находилась в овчарне, а летом ее надо было пасти, тут пригодился и я. Всё лето, вплоть до сентября, пас овец, а мама с дядей Васей, так звали отчима, могли что-то сделать в домашнем хозяйстве. Выгоняли отару ранним утром, и до позднего вечера я ходил с ней по разным местам, выбирая те из них, где могла расти хорошая трава. Овца – прожорливое животное, она срезает зубами траву под самый корень, поэтому луговые участки надо было периодически менять, дожидаясь, когда отрастет зеленый покров на пройденных. Так и водил всё лето многочисленную отару, набираясь пастушьих навыков управления непростыми созданиями природы. У меня до сих пор осталось представление, что овца – самое глупое, плохо управляемое животное. В жаркие дни овцы, покрытые толстым слоем шерсти, накло-

нив к самой земле головы, сбиваются в плотную массу и кружат на одном месте. Заставить их идти в нужном направлении совсем непросто. В холодное, дождливое время, наоборот, они, словно обезумевшие, несутся, куда глаза глядят. Догнать, остановить, завернуть – дело еще более сложное. В Толковом словаре Владимира Ивановича Даля хорошо передан характер овцы. *«Без пастуха, овцы не стадо. Сыта овца кричит, голодна овца кричит. Поводится (набалуется) овца, не хуже козы. Посади деревенскую овцу в почет, будет хуже городской козы. За бешеной овцой не крылатыми пастырю быть. Не верти головой как бешена овца, не продали бы татарам»*. Справляться с такой большой отарой мне помогал Султан, мой верный друг, товарищ и брат. Так звали нашу домашнюю полуовчарку, собаку, выросшую при мне, исключительно умную, если не сказать мудрую. Султан всегда был на страже, зорко следил за движениями непредсказуемого шерстяного собратства. Стоило только вроде бы мирно пасущейся отаре начать движение в сторону, как Султан вздрагивал всем телом, поднимался на ноги и смотрел на меня, ждал команды. «Заверни», – слышал он и стремглав мчался к месту нарушения дисциплины. Подбегая, кусал за ноги нарушителей, те в испуге шарахались от него, и хотя укусы были всего лишь имитацией, они не ранили овец, те возвращались на прежнее место. Я давал команду Султану, чтобы он находился на противоположной от меня стороне, мудрый помощник всё исполнял. С двух сторон мы контро-

лировали бестолковых, неуправляемых особей.

Территория овечьих пастбищ была большой, вокруг деревни, минуя поля, засеянные пшеницей и рожью, мы с Султаном водили отару по луговым участкам. Благодаря таким путешествиям я расширял свой кругозор, к сенокосным знаниям родной природы много добавили хождения с овцами. Леса, околки, поля, луга, болота вокруг Антоновки стали родными, близкими, узнаваемыми, где какие птицы – утки, чибисы, кулики, куропатки, перепелки, синички, воробьи, вороны, сороки – выют гнезда, чем и как они кормят свое потомство; это и многое другое я узнавал, тесно общаясь с миром природы. Даже сегодня, спустя много десятилетий, находясь далеко-далеко от родных полей и лесов, могу с закрытыми глазами начертить карту мест, где жил, работал, косил, пас, ходил за грибами и ягодами. Моя Антоновка осталась со мной навсегда, на всю жизнь, я всегда хотел ее увидеть, прикоснуться к родным местам. Но всего лишь два раза пришлось побывать там, один раз в 1985 году: деревни уже не было, она исчезла, как и тысячи других деревень России, а второй, последний раз – в 2016 году.

Тогда я решил навестить тяжелобольную сестру Римму в Омске, со мной поехала Марина. Римма находилась в тяжелейшем состоянии, она держалась изо всех сил, ей трудно было говорить, мы с ней еще не знали, что это будет наша последняя, прощальная встреча. В 2019 году сестра уйдет из жизни, а я, к великому моему горю, не смогу с ней простить-

ся и проводить в последний путь. Прости меня, Римма, только тяжкая болезнь Аллы, да и моя собственная, не позволили немедленно приехать к тебе. Прости. Тогда, еще при ней, живой, я решил вместе с Мариной и Леной поехать в нашу деревню, где мы родились, росли, становились советскими людьми. Я, конечно, знаю, что Антоновки давно нет, но ведь есть кладбище, где покоятся бабушки Наташа и Мария, дядя Алеша. Мы не должны их бросать, пока живы, отдадим дань памяти, уважения, любви. Дорога, хотя и длинная, около двухсот километров, меня не пугала, хороший, опытный водитель, мощная скоростная машина, да и я ничего не забыл. Через Исилькуль, Новорождественку, и вот наше болото, увы, уже высохшее, за ним должна была быть Антоновка, вот там наш дом, огород, роща, в которую ходила мама за водой. А еще поле, где я потерял руку, ну и, наконец, кладбище. Всё знакомо до слез, щемит сердце, сейчас подъедем. Один околок, другой, третий, а где же кладбище?.. Нет его... Совсем рядом строения Северного, отделения совхоза «Боевой», теперь он какое-то «ООО». Унылый вид, зачуханные домишки, на улице ни человека, ни собаки. К счастью, возле длинного ветхого барака увидели старика и женщину, сиротливо сидевших на лавочке. Поздоровались, спросили, не знают ли они, где здесь может быть антоновское кладбище. *«Да здесь оно, совсем недалеко, вы проехали его, вернетесь и слева от дороги в околке оно и лежит... А откуда вы будете?»* Пришлось сказать, дед изумился: *«И вы специально*

приехали на кладбище?!». Молчавшая женщина, пристально всматривалась в меня и вдруг спросила: «*А как ваша фамилия?*». Узнав, сказала: «*Я так и подумала*». «*А ваша?*» – мне совсем стало интересно. «*Викторенко*» – взглядевшись, я тоже узнал ее. Боже мой, передо мной мгновенно промелькнули лица Поли Викторенко, матери сестер Зои, Любы, Таси, а вот младшую совсем забыл. Это их отец погиб на фронте, а мать, мужественная, работающая женщина, по весне спасала свое семейство лебедой и крапивой. Я что-то сказал женщине на скамейке, а она, глядя мне в глаза, произнесла: «*Я знаю, и ваш отец погиб*»... Наверное, я растерялся, и забыл спросить, как ее звать, то ли Люба, то ли Тася. Теперь уже не спросишь...

Мы вернулись назад и уже ехали медленно, смотря налево, и вдруг Марина воскликнула: «*Кладбище!*». Я, как не всматривался в стволы берез, ничего не видел. «*Да вот же оно, смотри, видишь металлические прутья?*» Увидел, рванулся из машины, застрял в высокой траве, упал в канаву. Маленький околос разросся, березы, которые я помнил молодыми и тонкими, стали высокими, могучими, и своей мощью словно закрыли от непогоды теперь уж безымянные могилы. А еще я вдруг ощутил, до боли в сердце, до спазма в теле, что могучие березы спрятали само кладбище от тех, кто превратил Северное отделение некогда передового, самого лучшего в Омской области совхоза «Боевой» в подобие умирающего погоста, и от тех, кто преступно уничтожил Со-

ветский Союз. Сиротливо стоявшая красная звезда напоминала: мы не умерли сами, нас убили враги. Краска на звезде уже облупилась, а ее фрагменты почернели, скоро и их не станет. Могилы превратились в маленькие, едва различимые сиротские бугорки, всё заросло травой, невозможно было узнать, чьи они. Правда, на одной сохранилась фамилия и даже фотография – это Семён Колбасин, сосед, что жил слева от нашего дома, колхозный пастух, заядлый рыбак. Могил бабушки Наташи и бабушки Маруси, дяди Алёши я так и не смог опознать, они рядом, но скрываются под тяжестью земли, покровом травы, тенью берез. Марина, Лена и я обошли кладбище по кругу и положили цветы, которые нам дали в Исилькуле: мама Саши, это муж мой внучатой племянницы Юлии, срезали все, какие были на грядке. Открыли четвертинку водки, разлили по пластмассовым стаканчикам, молча помянули. Спите, родные, мы помним вас! В Омске, куда вернулись, я подробно рассказал Римме о нашей с ней родной Антоновке, о кладбище, о брошенных могилах наших деревенских родных, близких, знакомых... Она с волнением слушала, сожалела, что не может поехать, была рада, что это сделал я. Так, в сущности, я простился с любимой сестрой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.